

Иван Солоневич

Диктатура сволочи

Предисловие

Мы живем в эпоху, когда перемешалось все -- по крайней мере в Европе. Границы любого понятия так же неопределенны, как границы любого государства. Кому принадлежит сейчас Штеттин: немецкий город, включенный в польскую территорию и находящийся под советской администрацией? И чем, собственно, являются венды, славянское племя, пытающееся организовать свое государственное единство в трех берлинских пригородах? И где именно проходит идейная граница между социализмом мистера Эттли и товарища Сталина? И кто сейчас является демократом? Люди, сидевшие на нюрнбергской скамье подсудимых, совершенно всерьез уверяли, что они действовали именно так, как подобает действовать всякому уважающему себя демократу. Советы утверждают, что тайные судилища НКВД и есть самый демократический способ отправления правосудия. Молотов доказывал, что свобода печати есть в СССР и ее нет в Англии, так что "Дейли Уоркер", очевидно, издается монополистами капиталистической прессы, а "Таймса" в России нет просто потому, что кто же бы стал читать такой бездарно пропагандистский листок. Я склонен опасаться, что мои мысли о бюрократии будут восприняты, как сословное оскорбление каждым почтовым чиновником всех стран, входящих в мировой почтовый союз: мировой почтовый союз есть в самом деле организация, спланированная в истинно мировом масштабе: какое же принципиальное различие существует между бюрократом, отправляющим мое заказное письмо и бюрократом, пытающимся отправить меня на тот свет?

Всякий строй, всякое государство и всякое предприятие имеет своего служащего. Какой-то запас "бюрококков" имеется во всяком служащем -- как туберкулезная палочка имеется во всяком человеческом организме. Вопрос заключается только, так сказать, в степени развития.

Всякое государство имеет генералов. Всякая страна имеет священников. При болезненном развитии генералитета страна попадает под власть милитаризма. При болезненном развитии духовенства в стране возникает клерикализм. Армия и Церковь имеют свои идеи и свои функции. Но армия и Церковь -- точно также, как и государство -- не имеют ни рук, ни ног, и функция рук и ног выполняется живыми людьми, которые, кроме интересов армии и Церкви, имеют также и свои личные, профессиональные интересы. Никакой в мире генерал не откажется от лишней статьи государственного бюджета, если эта статья дает лишние кредиты армии: никакому генералу никогда не помешает никакая лишняя дивизия. И очень редкий епископ удержится от деяний, явно приносящих вред Церкви, но клонящих к вящей славе клира -- "ad majorem gloriam" князей церкви -- примеров, я думаю, и приводить не стоит. И генералы, и епископы нормально действуют в пользу армии и в пользу Церкви -- но они могут действовать и во вред. История русской армии переполнена генералами, которые действовали во вред. История английской -- тоже. Генералы русской армии -- и не какие-нибудь, а такие, как генерал Драгомиров, всячески тормозили введение нарезного оружия, щитов при орудиях и даже пулеметов; их мотивировок я приводить не буду. Генералы английской армии тормозили введение танков в Первую Мировую войну. В одном из морских рассказов русского военно-морского писателя Станюковича, старый адмирал презрительно бросает молодому мичману;

-- Стыдно-с, молодой человек, а служите на самоваре.

Под самоваром адмирал подразумевал паровой фрегат -- это было время борьбы парусного флота с паровым. Можно было бы обозвать адмирала глупцом и реакционером, но это было бы не совсем справедливо. Представьте себе психологию человека, посвятившего всю свою жизнь . -- и получившего все чины и награды -- под белоснежным покровом лебединых парусов, под акробатику лихих "марсовых", под всем тем укладом морской жизни, который, в конечном счете, базировался на матросском рабстве: в России этих марсовых тащили из крепостных деревень, в Англии их брали в рабство в портовых кабаках. Старичок адмирал, может быть, и понимал: паруса кончаются, -- но что он будет делать в машинном флоте? Он в нем не понимает ничего -- и никогда уже не поймет -- учиться заново уже поздно. Так, вероятно, какой-нибудь закованный в латы рыцарь смотрел на первую допотопную пушку: стрелять она, вероятно, будет -- но мне-то от этого какое утешение? И куда денусь я, -- с моим мечом, латами, замками, гербами и семью поколениями рыцарских предков? Не следует негодовать: это *humanus est*. Генералы становятся милитаризмом, священники -- клерикализмом и чиновники -- бюрократизмом с того момента, когда нарушается равновесие жизненных функций социального организма. Человеческое сердце очень трогательная вещь, но и оно страдает гипертрофией. В нормальном ходе социальной жизни -- есть и генералы, и священники, и чиновники. Каждый из них постарается объяснить историю своего народа по своей профессиональной линии. Так, русские военные историки объясняют русские неудачи Первой Мировой войны стратегическими ошибками генерала Алексеева (соответственно -- Фоша, Френча, Гинденбурга и прочих). Есть люди, объясняющие отступление русской армии повелением Николая Второго ввести в России сухой режим: будь бы водка -- никакого отступления не было бы, как же русский солдат может воевать без водки!

Всякая профессия склонна замыкаться в касту. И всякая каста склонна утверждать, что именно ее интересы являются высшими интересами человечества. Я по биографии своей являюсь форменным *outcast*, а по образу жизни -- хроническим беженцем, "марафонским беженцем", как переводила на русский язык немецкая пропаганда соответствующий спортивный термин. И, кроме того, будучи литератором по профессии, я проектирую для будущей России довольно утопический закон, который должен будет ввести для литературной братии телесное наказание -- розгами. За каждую сознательную ложь, доказанную на гласном суде присяжных заседателей. Тогда, после нескольких сот тысяч розог, может быть окажется возможным установить значение терминов и понятий, демократий и НКВД, свободы печати в СССР и в Англии и право м-ра Бернарда Шоу зубоскалить над могилами десятков миллионов людей. Но я боюсь, что до введения моего закона м-р Шоу не доживет, а жаль...

Социалистическая бюрократия возникла в России -- в меньшей степени в Германии -- "на базе" молниеносного разгрома всего органического уклада жизни. В частности и в особенности -- хозяйственной жизни обеих стран. Хозяйственная же жизнь, как спорт и искусство, -- есть область, где конкуренция, и только она одна, определяет собою наиболее приспособленных людей.

Служитель религии не вправе выдумывать ничего нового: он должен придерживаться тех "вечных истин", которые изложены в Библии, Коране или Ведах. Не следует иронизировать над вечностью этих истин: в каждой из этих книг вечная истина средактирована в той ее форме, какая наиболее соответствует эпохе и расе. И, во всяком случае, ни одна из этих книг ничему злему не учит. Священнослужитель каждой религии обязан придерживаться этих книг, обязан говорить их языком и обязан соблюдать обряд, выработанный веками и веками. "Личная инициатива" тут отсутствует полностью.

Всякий чиновник обязан придерживаться закона. Или, еще точнее -- буквы закона. Он сидит на своем месте не для проявления инициативы, а для поддержания порядка: в уличном движении, в мобилизации земельной собственности, в пересылке срочных телеграмм и бракоразводном судопроизводстве. Никакой инициативы не требуется и от него.

Всякий генерал является составной частью соответствующей военной традиции и никакая армия в мире не может позволить любому подпоручику менять полковые традиции или устав полевой службы. Даже и большевики закончили свои военные эксперименты тем, что точно и тщательно скопировали весь строй старой царской армии -- до погон включительно. По моим личным наблюдениям --

советские генералы, в общем, оказались не хуже, вероятно, и не лучше генералов царской России -- в особенности в чисто военной области. "Революционная инициатива" здесь окончилась ничем.

В Церкви, администрации и армии, где человек входит в веками сколоченный аппарат, его личные качества перестают играть решающую роль. Его деятельность направляется традицией, законом, преданием, навыками -- всей инерцией векового аппарата. Попадет ли он на генеральское или епископское место по личным заслугам, по выслуге лет, по протекции тетушки -- и это особого значения не имеет: его пути заранее предусмотрены инерцией. И никогда нельзя доказать, что на месте одного генерала другой был бы лучше или, по крайней мере, намного лучше. В этой среде существует вполне законное недоверие ко всякого рода новаторам, изобретателям, литераторам и прочим беспокойным элементам страны. В этой среде люди выдвигаются и "выслугой лет", и "правом рождения", и протекцией, и, наконец, случайностью. Но в профессиональном боксе невозможен ни один из этих способов. Вы выходите на ринг -- и никакая выслуга лет, никакие связи, даже никакие "теоретические познания" здесь не стоят ни одной копейки. Человек или побьет своего конкурента, или будет побит своим конкурентом. Знатоки дела могут заранее подсчитывать вес, тренированность, массивность скул и крепость кулака, быстроту нервной реакции и прочее в этом роде -- но, в большинстве случаев, на ринге проваливаются и эти подсчеты: остается факт голой победы и поражения.

Профессиональным боксом занимается только неуловимая дробь процента человечества. Хозяйственной деятельностью занимается его подавляющее большинство. Но эта хозяйственная деятельность подчинена тем же законам, что и ринг профессионального бокса: только победа в свободной конкуренции и только она одна отделяет званных от избранных и -- еще -- званных от самозванных. Вы обанкротились с вашей лавчонкой, а ваш конкурент процвел. Для вашей любимой женщины вы можете изобрести любые объяснения -- как побитый на ринге боксер -- любимая женщина поверит, на то она и любимая женщина. Но потребителю -- беспалляционному судье на ринге хозяйственной конкуренции -- на эти объяснения плевать. Он пошел к вашему конкуренту и на его сияющую голову возложил олимпийский венец чемпиона Бэйкэр Стрит по торговле маринованными селедками.

Частное хозяйство требует инициативы. Бюрократия отрицает инициативу по самому существу. В частном хозяйстве удачная инициатива приносит миллионы -- неудачная выдувает человека в трубу. В лестнице бюрократической табели о рангах -- удачная инициатива не дает почти ничего и неудачная не грозит почти ничем. В условиях социалистической бюрократии удачная инициатива тоже не дает ничего, но неудачная грозит расстрелом, -- впрочем, иногда тем же грозит и удачная. Однако никакая бюрократия мира не может допустить миллионных вознаграждений таланта, изобретательности, инициативы и прочего -- ибо это подрывало бы самый корень ее существования: выслугу лет. В совершенно такой же степени средневековый феодал НЕ МОГ признать прав таланта, изобретения и инициативы -- ибо, если бы он их признал, чему тогда будут равняться его семь поколений рыцарских предков, дающих ему -- по праву рождения -- право на подобающее ему количество колбасы, замков, почета и власти?

Я не хочу быть несправедливым даже и к бюрократической деятельности: в общей экономике природы нужна и она. Однако, -- чем ее меньше, тем лучше для всех остальных людей, не входящих в состав бюрократического аппарата. Имеет свои преимущества даже и она. Человек работает немного, спокойно, не торопясь и не увлекаясь. Захлопывая свой конторский стол, он захлопывает в нем и все свои деловые заботы. Бессонных ночей тут нет. После двадцати пяти лет по мере возможности беспорочной деятельности, его ждет приличный чин, приличная пенсия и ничем не ограниченное количество ничем не омраченного свободного времени. Он не получит: ни орденов за героизм, ни миллионов за инициативу, ни нобелевской премии за служение миру или художественной литературе. И вот, в эту так плотно налаженную жизнь, врывается беспокойный элемент таланта, риска, предприимчивости, новизны -- и плюет или пытается плевать на такие веками освященные вещи, как выслуга лет или заслуги предков, как партийный стаж или заслуги перед революцией; это с трудом выносит даже бюрократ "старого режима", бюрократ, твердо уверенный в своем праве выслуги лет. Так что же говорить о новорожденном бюрократе, который ни

в чем не уверен, который ничего не знает и который распухает, как раковая опухоль, изо дня в день.

Всякий частный предприниматель норовит сократить число своих служащих -- ибо он оплачивает их из своего кармана. Каждый бюрократ норовит увеличить число своих служащих, ибо оплачивает их не он и ибо чем шире его заведение, тем больше власть, почет, даже жалованье. Но социалистический бюрократ распухает и по другим причинам.

Социалистический бюрократ России во времена Ленина национализировал крупную промышленность. Программа компартии в те времена большего не требовала -- но большее пришло само по себе, автоматически.

Крупная промышленность национализирована -- но мелкая работает на капиталистических основаниях. Крупная промышленность, в которой матерые, закаленные в хозяйственных боях "капитаны индустрии" заменены людьми, закаленными во фракционных спорах, начинает хромать на все четыре ноги. Самый естественный ход мыслей подсказывает нужное решение: национализировать и мелкую промышленность, ибо она, ведомая капиталистической сволочью, саботирует, срывает план, идейно и хозяйственно срывает победоносное шествие социалистического сектора народного хозяйства -- нужно и эту сволочь национализировать. Национализировать и ее.

Национализация крупной промышленности, сама по себе, еще ничего не означает. Ибо национализировать можно: а) для хозяйственных целей и б) для политических целей.

Царское правительство скупало железные дороги, чтобы понижением тарифов поднять индустриальный рост страны. Было ли это правильно или неправильно -- это уж другой вопрос. Советское правительство национализировало те же железные дороги, чтобы "ликвидировать капиталистов". Политика Николая Второго в общем не была социализмом. Политика Эттли -- еще не является социализмом. Но если вы национализировали крупную промышленность для того, чтобы прекратить "эксплуатацию человека человеком", то, естественно, что на одной крупной промышленности вы остановиться не можете. Тогда "социализация", "национализация" и прочие формы бюрократизации народного хозяйства растут, как снежный ком. Эксплуатация человека человеком прекращается. Начинается эксплуатация человека бюрократом. Начинается разрастание чудовищной бюрократической опухоли, пронизывающей весь народный организм. Социалистическая бюрократия достигает мыслимого предела -- или идеала бюрократического распухания; схвачено все, конкуренции больше нет. Нет ни одной щели, которая была бы предоставлена свободной человеческой воле. Жизнь замкнута в план, и на страже плана стоят вооруженные архангелы, охраняющие врата социалистического рая: чтобы никто не сбежал.

Страх

Национал-социалистическая бюрократия Германии ввела в своей стране "арийские свидетельства". Наивная публицистика заграницы объяснила это "личным антисемитизмом Гитлера". Приблизительно такое же умное объяснение, как и то, которое объясняло "ликвидацию кулака, как класса" личными вирусами Сталина. Глубокомысленные передовые статьи европейских газет, возмущаясь участью миллиона евреев, отданных на растерзание социалистической бюрократии Германии, не заметили другой стороны этих свидетельств: стороны, обращенной к чисто немецкому населению. А была и эта сторона.

Мой добрый приятель, инженер И., имел в Берлине небольшое предприятие и, несмотря на русское происхождение, зарабатывал весьма недурно. У него было ателье по производству рекламных фильмов. Инженер И. звонит мне по телефону:

"Чтобы их всех черт побрал: в Москве доставал липы, что мой папаша был бараном, а моя бабушка -- коровой, а теперь что я достану?"

В Москве требовались удостоверения о том, что ваши родители не принадлежали к классу эксплуататоров человека человеком и в Москве всякий ваш приятель, имеющий доступ к каковой бы то ни было печати, охотно и быстро

снабжал вас любым удостоверением на любую тему. Но здесь, в Берлине? В столице страны, прославленной своим Орднунг, да еще для русского эмигранта, который лишен был какой бы то ни было возможности написать в Москву и потребовать от правительства СССР официального удостоверения о том, что ни папы, ни мамы, ни дедушки, ни бабушки никакими евреями не были.

Эмигрантская практика уже имела несколько обходных путей. Во-первых, при Кенигсбергском университете оказался какой-то русский профессор генеалогии, который, якобы, вывез из России все шесть томов родословных книг русского дворянства и за очень скромную мзду давал соответствующие справки. Эти справки -- опять же за скромную мзду -- принимались соответствующими немецкими учреждениями, которые и выдавали окончательное арийское свидетельство. Тот факт, что русская эмиграция процентов по меньшей мере на девяносто дворянами не была и, следовательно, ни в каких родословных книгах фигурировать не имела никакой возможности, -- немецкими властями отмечен не был. Предприятие почтенного генеалогического профессора получило на эмигрантском языке техническое название "жидомер" и снабжало справками всех -- иногда даже и евреев. Инженеру И. получить такую справку не стоило бы ровно ничего -- так, несколько сот марок.

Был и другой способ -- несколько менее портативный. Нужно было найти трех свидетелей, которые бы клятвенно (eidenstaatlich) подтвердили арийскую безупречность ваших бабушек и дедушек. Русская эмиграция относилась к присяге с чрезвычайной щепетильностью -- все-таки присяга. Но эта щепетильность не простиралась слишком далеко -- можно было воспользоваться чужой присягой. Со дна берлинских улиц подбирались четверть дюжины босяков, которые за несколько десятков марок и обязательную бутылку шнапса клялись и божились перед судом, что они лично знали ваших бабушек и дедушек и что те были стопроцентными арийцами. Суд с самыми серьезными лицами выслушивал этих оборванцев -- и вы получали удостоверение. Были и другие способы. Но ни один из них не устраивал моего приятеля. Он выругался еще раз и положил трубку. Через некоторое время его вызвали в соответствующее учреждение. Соответствующему учреждению инженер И. сказал примерно то же самое, что и мне. Учреждение сказала, что оно разберет. Потом к И. пришел партийный дядя для проверки. Дядя намекнул, что за две тысячи марок можно восстановить непорочную генеалогию есаула И.. Есаул И., кажется, послал дядю в нехорошее место и пытался сослаться на европейскую культуру и прочее в этом роде -- культура не помогла. Дядя ушел. Через неделю И. стали отказывать его заказчики; фирма подозрительна. Заказчики не хотели иметь дело с подозрительной фирмой -- их тоже могли объявить подозрительными. Теперь уже сам И. отправился отыскивать партийного дядю -- и это обошлось ему не в две, а в пять тысяч марок, причем раньше дядя сам пошел к И., а теперь И. должен был околачиваться по передним и приемным. И, приняв взятку, партийный дядя поучительно сказал, чтобы это было в последний раз, что при дальнейшей строптивости и пять тысяч не помогут. Дальнейшей строптивости инженер И. кажется не проявлял. Он пришел ко мне на чисто политическую консультацию: неужели, в самом деле в германском Берлине то же самое, что в советской Москве?

Дахау и Соловки, Бельзен и ББК, Гестапо и НКВД, газовые камеры и чекистские подвалы -- это то, что непосвященный наблюдатель видит со стороны. Арийские и пролетарские удостоверения -- это то, что со стороны видно плохо. Это -- небольшой отрезок того бюрократического способа управления, который стремится прежде всего запугать господствующую расу или господствующий класс, немцев, мессиански призванных спасти человечество, или пролетариат, так же мессиански призванный спасти то же злополучное человечество. Оба мессии на практике превращаются в рабочее быдло, и бюрократия поставляет им все для быдла необходимое: ярмо, кнут и корм -- корма меньше, чем чего бы то ни было другого: "Бюрократ там правит бал!"

По целому ряду исторических причин русская литература особенно богата всякого рода разоблачениями, обличениями и осмеяниями бюрократии. Может быть именно от того, что и сама она выросла из служилых рядов. Лев Толстой в "Анне Карениной" был далек от какой бы то ни было сатиры: он рисовал быт -- близкий и милый ему быт -- титулованного и чиновного русского дворянства. Князь Облонский обладал, по Толстому, идеальным свойством бюрократа: "совершеннейшим безразличием к тому делу, которым он руководил". Лев Толстой, несмотря на свои путешествия "в народ", все-таки очень мало знал ту

сторону быта, которая была подчинена бюрократам, исполненным совершеннейшего безразличия к своему делу. Это была тяжелая сторона. Но кн. Облонский был добродушнейшим человеком, человеком очень культурным и, главное, человеком, который совершенно искренне полагал, что он, князь, потомок длинного ряда предков, имеет законное, наследственное право на синекуру с жалованием в шесть тысяч в год. Он был благодушным русским баринком -- вот того поколения, которое уже начало пропивать дедовское наследие, но не успело пропить его окончательно. Кн. Облонский уже пропил имения -- свое и своей жены, но общие экономические источники русского барства еще не иссякли и едва ли кн. Облонский мог предполагать, что они иссякнут. Говоря короче, кн. Облонский был уверен во всем: в незыблемости мироздания, в своих правах на синекуру, в наличии дядюшек и тетюшек, которые не могут не выручить в минуту жизни трудную, а также и в наличии родственников, которые должны же, в конце концов, помереть и оставить наследство. Кн. Облонский был, вероятно, не очень плохим бюрократом. И, кроме того, он был очень далек от какого бы то ни было всемогущества. В конце концов, ему, князю, рюриковичу и прочее -- пришлось идти в приемную "жида концессионера" и там, в приемной представителя стихии свободной конкуренции, ждать подачи -- и не получить ее.

Князя Облонского выперли вон. Из революционного подполья, сквозь баррикады уличной борьбы и фронтов гражданской войны, к власти пришли профессионалы революции и те подонки городов, на которых эти профессионалы опирались. Они заняли все места в стране -- и место князя Облонского, и место "жида концессионера", и место директора завода, и миллион аналогичных мест в стране. Они "были ничем и стали всем", как поется в Интернационале. Они захватили власть -- всеобъемлющую, всепроникающую и почти всемогущую. И, сидя на лаврах этой власти -- они не имеют ни одного спокойного часа: как бы снова не стать "ничем". Хуже, чем ничем.

Они, действительно, организовали режим террора -- и во Франции Робеспьера, и в России Сталина, и в Германии Гитлера, и в Италии Муссолини. Но, организуя перманентный террор, все эти люди и сами живут в атмосфере неизбежного страха. С ножом в руке и с ужасом в сердце -- так и живут эти победители сегодняшнего дня. Ибо, создавая рабство, приходится подчиниться рабству и самим.

Ленин до конца своей жизни удивлялся: как это им, большевикам, удастся еще сидеть у власти? Как это их до сих пор еще никто не выгнал вон? -- Ряд переkreшивающихся исторических фактов создал почти неповторимый в истории момент -- и вот в этот момент "революционные кадры" хлынули к власти, захватили ее, уселись на ней, подавили сопротивление всей остальной страны и держат десятки и сотни миллионов людей под революционным прицелом. В тот момент, когда внимание ослабнет, когда дисциплина упадет, когда рука дрогнет, эти миллионы ринутся на штурм -- и тогда что? Тогда -- виселица.

Совершенно конкретный пример. В мои годы -- 1933-34 -- в бесчисленных концентрационных лагерях СССР сидело около пяти миллионов человек. Это -- мой собственный подсчет. Думаю, что максимальная ошибка едва ли может превзойти один миллион -- и в ту и в другую сторону. Сейчас американская пресса говорит о пятнадцати миллионах -- возможно, что это и преувеличено. В соответствующих лагерях Третьего Рейха сидело около пяти миллионов. Кроме того, оба невыразимо прекрасных строя разорили, ограбили, унизили еще миллионы и миллионы людей. Кроме того, каждый из расстрелянных в Соловках или в Бельзене, убитый в газовых камерах или в чекистских подвалах, имел каких-то сыновей, братьев, отцов. Предположите самое простое: существующая власть рухнула и миллионы заключенных в концлагерях хлынули на свободу. Что станет с теми людьми, которые их гноили и расстреливали в Дахау и в Соловках? Что станет с миллионными бандами профессиональных охранителей социалистических режимов -- с сыщиками и палачами Гестапо и ГПУ? Тут не нужно никакой "философии истории". Сыщики и палачи все это понимают уж, во всяком случае, лучше профессора Милюкова: ни о каком бескровном перевороте и речи быть не может. Нужно сжимать и зубы, и револьверы, нужно поддерживать и террор, и дисциплину, причем террор объясняется необходимостью "трудовой дисциплины", а "партийная дисциплина" ничем не отличается от террора... Конкурирующие элементы победившей партии истребляются с еще большей жестокостью, чем побежденные люди старых режимов. И официальная публицистика находит по адресу Троцкого или Рема, Бухарина или Штрассера такие слова

ненависти, каких она не находила по адресу Николая II или Вильгельма II.

Я не прихожу в слишком большой восторг от нюрнбергского процесса. Вчерашние товарищи топят друг друга, как только могут. Вчерашние дружинники марают память вождя, как только можно. Агитационный грим снят и оперные тоги сброшены: осталась голая банда, которая грабила, убивала, насилвала, резала, жгла, над которой теперь вплотную нависло возмездие и которая занята только одним: спасением своих собственных шкур ценой любого предательства любой идеи. Точно так же -- истинно по-нюрнбергски -- вели себя Бухарин и Каменев, Зиновьев и Рыков: топили и предавали друг друга, молили о милости, пресмыкались у ног вчерашнего товарища по партии, по революции, по работе и даже по идее, лизали его пролетарские сапоги -- молили хоть о капле пощады -- и не получили ни капли. И вот тут-то начинается одна из самых странных вещей в психологии революции.

Я еще помню те времена, когда портрет Троцкого неизменно висел рядом с портретом Ленина и когда Троцкий считался в числе той троицы, на которую с надеждой взирало все угнетенное человечество: Ленин, Троцкий, Бухарин. Три краеугольных камня всечеловеческого будущего, три лика революционной троицы. Любили ли Троцкого и тогда? Не знаю, думаю, что слова любовь, как слова дружба вообще нельзя употреблять по отношению к революции и к революционерам. Но его популярность была огромной. Он был лучшим оратором революции и лучшим оратором для революции: дюжина революционных банальностей, политая соусом ничем не ограниченных обещаний. Потом он пал. И было приказано его ненавидеть.

Я не знаю, любили ли Троцкого, но его стали ненавидеть истинно лютой ненавистью. Мне много, много раз приходилось разговаривать с русскими коммунистами в той, чисто русской обстановке, которая почти на все сто процентов исключает возможность доноса -- за бутылкой водки. И я пытался выяснить корни этой скоростной ненависти: как никак, именно он, Троцкий, вел к победе революционные армии: вот, смотрите, что написано там-то и там-то. Именно он, Троцкий, сманеврировал Брестским Миром, предоставив буржуям добивать друг друга до конца. Это именно его, Троцкого, Ленин поставил во главе всех вооруженных сил русской революции -- так с чего же вы, коммунист, сейчас так возненавидели этого человека?

Ответ -- туманный и невразумительный, уклончивый и инстинктивно сводился к тому, что "Троцкий раскалывает партию". А, может быть, вовсе не Троцкий, а Сталин? Нет -- именно Троцкий, ибо Троцкий погиб, а во главе партии остался Сталин.

Представьте себе положение банды, захватившей власть, расстрелявшей десятки миллионов и ограбившей сотни, банды, которая может жить только единством воли, внимания, настороженности и террора. Одно, только одно мгновение растерянности или раскола, и многомиллионные массы "трудящихся" снесут все. И тогда -- Троцкий и Сталин, троцкисты и сталинисты -- все одинаково пойдут на виселицы, никаких иллюзий в рядах компартии по этому поводу нет и никогда и не было. Поэтому всякий, кто как бы то ни было "стоит в оппозиции", есть враг, есть предатель, есть объект самой нутряной ненависти. Поэтому же каждый, кто любой ценой удерживает единство, а, следовательно, диктатуру партии, а, еще раз, следовательно, и жизнь каждого участника этой диктатуры -- каждого сочлена социалистической правящей бюрократии, -- есть гений и спаситель. Гитлер и Сталин стали гениями, ибо победили они. Если бы Рему и удалось зарезать Гитлера, а Троцкому -- Сталина, гениями стали бы Рем и Троцкий. Мера гениальности так же, как и мера правомерности отмеривается длиной ножа. Но, "какой мерой мерите, такую отмерится и вам". Антинаучная истина Евангелия всегда перекрывает научные истины истории философии. Приходит день -- и мера социалистических ножей измеряется высотами виселиц. Страх именно перед этим днем определяет собою всю внутреннюю жизнь социалистической и революционной бюрократии. И совершенно независимо от того, называется ли она якобинцами, коммунистами, фашистами или нацистами: все они рождены от Каина, вскормлены ненавистью, сеют террор и пожидают виселицы. И только там, на этих высотах, реализуется тот лозунг, который стоит на социалистических знаменах:

"Пролетарии всех стран, соединяйтесь!"

Нацизм и коммунизм

Опыты объединения социалистических партий были проделаны в обеих плоскостях: и во внутренней и в международной. Во внутренней -- большевистская фракция российской социал-демократической рабочей партии вырезала меньшевистскую партию той же фракций. И германская национал-социалистическая рабочая партия вырезала германскую просто социал-демократическую, но тоже рабочую партию. Потом кое-кто был зарезан и в рядах победившей фракции. Мне, разумеется, еще и еще раз скажут: так какие же это социалисты, -- вот товарищ Блюм, когда, -- и если он придет к власти, -- будет действовать совсем иначе. Не знаю: товарищ Ленин и Гитлер, идя к власти, тоже не обещали резни. Не обещает, пока что, и товарищ Блюм. Но может быть, даже и Блюм не удержится. Может быть и он, если уж дело дойдет до *ultimo ratio* всякого социализма -- до ножа, предпочтет не следовать толстовским заветам и не уляжется в могилу совсем уж безропотно и покорно, не желая обagrить своих социалистических рук кровью своих социалистических товарищей. А, может быть, и не предпочтет?

Объединение социалистических партий было проделано и на международном участке политического фронта: ни на одном участке Второй Мировой войны не было проявлено такой безграничной ненависти, такого презрения к так называемым законам войны, такой страсти к уничтожению и истреблению, такого разбоя и грабежа, пыток и убийств, какие были проявлены на социалистической чистке, -- на фронте, где германская социалистическая республика воевала против союза социалистических республик. У обеих социалистических республик были и другие прилагательные, нельзя же без прилагательных, но и одна и другая сторона называли себя социалистической, истинно социалистической, единственной в мире, полностью реализовавшей великие принципы истинного социализма.

Сейчас германский социализм убит -- не весь, осталась еще социал-демократическая разновидность. Так что, если бы не капиталистические оккупанты, то производство виселиц в Германии достигло бы астрономических высот. Во всяком случае, "фашизм" убит. И стал для других социалистов таким же "растленным псом", каким стал Рем или Бухарин для остальных, еще не дорезанных социалистов. "Фашизм" никогда не был научным понятием, термином, определением. Он раньше был евангелием, теперь он стал ругательством. Сейчас каждый и всякий титулует себя демократом и всех остальных реакционерами. Сейчас врут так, как не врал никогда в мире, никогда во всей истории человечества. Сейчас люди находят возможным говорить, что режим Советского Союза -- где нет никаких свобод, где нет никакой гарантии ни для какого человека, где безраздельно правят голод и кнут -- что этот режим и есть демократия, прогресс, истинное царство свободы и процветания. И другие люди, живущие под охраной пусть и не совсем евангельского, но все-таки закона, люди, имеющие возможность писать любой вздор, люди, лишенные даже и таких привилегий, как продовольственные карточки и хлебные хвосты -- эти люди делают вид, что тайная чрезвычайка есть действительно прогресс, а гласный суд присяжных есть действительно реакция. Вранье приобретает характер гипнотического внушения. Люди видят факты -- и не хотят видеть их. Люди слышат стоны -- и не хотят слышать их...

Фашизм убит... Но, используя столетнюю фразеологию, можно сказать, что дело его живет: я не вижу никаких признаков гибели фашистского, тоталитарного, социалистического или даже коммунистического строя мыслей -- ни в Европе, ни, пожалуй, даже и в Америке. Рабочие американской мясной промышленности, бастующие во имя национализации этой промышленности, -- борются решительно за то же, за что боролись их русские и германские товарищи: за передачу власти в руки социалистической бюрократии. Ни русский, ни германский опыт их ничему не научил. Делая истинно фашистское дело, они будут говорить о демократии точно так же, как о ней говорит тов. Молотов. Товарищ Молотов, сидящий на политической базе миллионов и миллионов заключенных в советских концлагерях, истекает негодованием по поводу Дахау. Товарищ Бенеш, изгоняющий из Чехии всех не чехов ("национальные меньшинства не отвечают понятиям современной демократии" -- заявление от 8 сентября 1946

г.), имеет мужество говорить о немецком шовинизме. Товарищ Торез, сидящий на базе "колониальной эксплуатации" Индо-Китая и Северной Африки, пытается урвать от немецкого пролетариата Рур и Рейн, но негодует против капиталистической экспансии Америки. Сколько миллиметров исторического пути отделяет нас от окончательного сумасшедшего дома?

Последние годы существования фашизма я провел в Германии и в ссылке. Мне кажется, что именно здесь, в Германии, психология социализма-коммунизма-фашизма и прочих синонимов раскрывается яснее, чем где бы то ни было. Яснее даже, чем в России. Ибо русская интеллигенция, десятилетиями готовившая революцию и десятилетиями несшая кровавые жертвы на алтарь этой революции -- жертвы и чужими жизнями, но и своими собственными -- эта интеллигенция изменила революции и пошла в армии Деникина и Колчака, в восстания Кронштадта и Тамбова, в эмиграцию и подвал. Немцы пошли в фашизм и революцию все: и принцы, и социал-демократы, и даже коммунисты. В России было сопротивление, в Германии его не было. В России гражданская война фактически не прекращается и до сих пор, в Германии не было ни одной битвы.

Один из американских исследователей европейских политических отношений пытался установить основные опознавательные признаки фашизма и насчитал их двадцать два. Из этих двадцати двух -- двадцать, по его мнению, применимы к фашизму и коммунизму. Русский "Социалистический Вестник", издающийся в Нью-Йорке, считает, что совпадают все двадцать два, в том числе и антисемитизм и шовинизм.

...Еще Достоевский в своем "Дневнике Писателя" горько жаловался на то, что иностранцы не понимают, не хотят, не могут "понять России: уж такой мы, де, таинственный народ. Достоевский приблизительно прав: действительно, не понимают. И, действительно, не могут понять. Где уж иностранцам, когда наша собственная отечественная литература, вот уже больше ста лет, все пытается "понять народ", "найти общий язык с народом" и, наконец, проложить какой-то мост через ту пресловутую пропасть, которая вот уже двести лет отделяет "народ" от "интеллигенции". Если русская литература за двести лет ее существования не смогла понять собственного народа, то чего уж требовать от злополучных иностранцев? И если русские литераторы и до сих пор не могут понять самих себя, то как же им проникнуться пониманием тех полтора миллиона рабочих и крестьян, которые в обалдении останавливаются перед интеллектуальными подвигами русской интеллигенции и категорически отказываются следовать за какими бы то ни было пророками, писателями, фельетонистами и даже профессорами. Иностранцы изучают Россию по произведениям русских пишущих людей, например, по тому же Достоевскому. Розенберг, например, обсосал Достоевского до последней косточки. Выводы великого русского писателя были положены в основу политики восточного министерства. Результаты нам уже известны.

Кажется, никому еще не пришла в голову очень простая, наивно элементарная мысль: изучать психологию любого народа по фактам его истории, а не по ее писателям. Не по выдумкам писателей, а по делам деловых людей.

На современных вершинах русской интеллигенции стоят, например, проф. Н. Бердяев и писатель И. Бунин. Бердяев начал свою общественную карьеру проповедью марксизма, потом стал буржуазным либералом, потом сбежал за границу, где перешел в ряды "черной реакции", потом сменил вехи и стал на советскую платформу. Писатель И. Бунин начал свою литературную карьеру в органе большевистской фракции российской социал-демократической рабочей партии "Новая Жизнь", издававшемся в Петербурге в 1906 году под фактической редакцией Ленина (См. Энциклоп. словарь Брокгауза и Эфрона, доп. том 3/Д. стр. 292. -- Кстати, обратите внимание на рамки свободы печати в России царского режима), потом перековался, перешел в "буржуазную демократию", потом бежал от "Новой Жизни", организованной его товарищами по газете, в эмиграцию: там писал о революции вещи, отвратительные даже с моей контрреволюционной точки зрения; потом намеревался еще раз перековаться и принять советское подданство. Все это можно объяснить и евангельской фразой: "вернется пес на блевотину свою". Верхи русской интеллигенции так и сделали: вернулись на свою же революционную блевотину. Но можно объяснить и иначе: люди никогда ничего своего и копейки за душой не имели, и меняли свои интеллектуальные моды с такой скоростью, с какой уличная девка меняет своих воздыхателей. Очень трудно понять, что полтора миллиона народа никак не мог утнаться за этими калейдоскопическими сменами мод, философий, рецептов,

программ, отсебятины и блуда. Не мог -- если бы и хотел. Но он и не хотел. В одной из своих книг, посвященных рождению, жизни и гибели философствующей интеллигенции, я предложил такую эпитафию на ее могилу:

"Здесь покоится безмозглый прах жертвы собственного словоблудия".

Эта жертва собственного словоблудия -- именно она готовила революцию, а никак не народ. Подготовив революцию, жертва сбежала за границу, а народ остался. Над ним, над народом, веками и веками привыкшим к суровой дисциплине государственности, которая одна могла спасти его физическое бытие, возник спланированный и сконструированный интеллигенцией аппарат социалистической бюрократии, вооруженный всеми достижениями современной техники истребления и управления. И -- народ борется и до сих пор. Во всяком случае: русский социализм оказался для русского народа -- для крестьянства, пролетариата, для "деловой" интеллигенции -- совершенно неприемлемым. Германский социализм оказался приемлемым для процентов девяноста германского народа, но оказался неприемлемым для соседей. Поэтому террор советской тоталитарной системы в основном был направлен против "внутреннего врага", а террор германского тоталитаризма -- против внешнего. Поэтому же Германия не испытала ни гражданских войн, ни восстаний, ни всего того бескрайнего разорения страны, которое связано с нашей тридцатилетней гражданской войной.

Это есть основное различие, из которого можно вывести и двадцать два и двести двадцать два внешних признака, отличающих или сравнивающих два братских каиновых режима -- сталинский и гитлеровский.

Русская интеллигенция была, в самом глубочайшем своем существе недобросовестна. Немец был добросовестен. Русский профессор так же добросовестно взывал к революции, как впоследствии эту революцию отринул, и еще впоследствии возвратился на революционную блевотину свою. Немец совершенно добросовестно грабил, расстреливал, уничтожал: запрет есть запрет и приказ есть приказ. И, кроме того, за каждой немецкой спиной была целая философская традиция: от Гегеля, окончательно пристроившего скептический "Мировой дух" на Вильгельмштрассе в Берлине, и до Шпенглера, который сказал, что "жизнь есть борьба", "человек есть хищный зверь".

Русская философствующая интеллигенция не верила даже самой себе. Но как не мог не поверить добросовестный Фриц -- и Гегелю и Ницше, и Рорбаху, и Шпенглеру? А, следовательно, и Гитлеру, в своей капральской палке воплотившему философские построения, столетий? Фриц -- он верил. Честно, искренне и добросовестно. Его ли вина, что Гегель оказался таким же вздором, как и Гитлер, до последней комнаты защищавший свою жилплощадь -- прибежище мирового духа на Вильгельмштрассе?

Немецкая вера в Гегеля и в Гитлера была тем первым открытием, которое я сделал в Германии и которое привело меня к ссылке: с верой в Гегеля и в Гитлера -- разгром неизбежен, а моя уверенность в разгроме Германии не встречала никакого сочувствия ни в каких немецких группировках, даже и в социал-демократических, не говоря уже о Гестапо.

...В Берлине у меня была приятельница -- этакая белокурая Валькирия, в возрасте лет двенадцати. Первая Америка, на которую я напоролся в Берлине. На моем рабочем столе валялись запасы шоколада, который уже в те времена присылался из буржуазной Франции -- в Берлине его было мало. Валькирия грызла плитки своими беличьими зубками и время от времени делилась со мною переживаниями, вынесенными из школы, улицы, кино и семьи. Из младенческих уст, вымазанных шоколадом, говорила какая-то истина -- странная и чужая для меня. Но все-таки истина.

Валькирия перелистывала английские иллюстрированные журналы и делилась со мной своими затруднениями в английском языке: очень трудный язык. В утешение я сказал, что русский -- он еще хуже.

Валькирия пожалала своими худенькими маргариновыми плечиками: "Да, но русского языка нам учить не надо, а английский -- очень надо". "Почему же надо?" "Мы, ведь, будем управлять Англией"... Младенческая истина приобрела актуальный характер. "А Россией вы тоже будете управлять?" -- "И Россией тоже, но в Россию Минна поедет; только там русского языка не будет, так что Минне хорошо, не нужно учить"... "Это все вам в школе говорят?" -- "Да и в школе и в "Ха-йот" (Гитлерюгенд)".

В общем -- я пошел к мамаше моей Валькирии и не слишком дипломатическим образом спросил: -- что это за вздор преподают немецким детям в немецкой школе? Валькирина мамаша слегка обиделась: в немецкой школе никакого вздора

преподавать не станут. Что-же касается Англии, то... впрочем, об этом мне лучше поговорить, с герром директором, -- отцом Валькирии и мужем Валькириной мамы. Я поговорил с господином директором. Господин директор был несколько смущен: он не ожидал такой болтливости от своей дочки. Да, конечно, мы, немцы, стоим перед войной... Но я, лично не должен питать никакого беспокойства: таких приличных русских, каким, конечно, являюсь я, мы немцы, обижать никак не собираемся, тем более, что вы уже живете в Германии и можете рассматриваться, как лицо, заслуживающее германского доверия...

Я спросил: "А что будет, если я все-таки вот возьму и обижусь?" Господин директор недоуменно развел руками: ни у Гегеля, ни у Гитлера такая возможность предусмотрена не была... Впоследствии, в годы войны, мне приходилось разговаривать в таких тонах, какие я раньше считал бы совершенно невыносимыми: захлебываясь от искреннего восторга перед своими победами, немцы искренне предполагали, что и я должен восторгаться: не было никакого намерения меня обидеть -- и это со стороны людей, которые читали ведь мои книги! Еще впоследствии -- уже в месяцы окончательного разгрома, -- мой сын, его жена, мой внук и я проделали шестьсот километров на конном возу, в февральские вьюги, по дорогам, заваленным брошенными повозками, поломанными автомобилями, не похороненными трупами; мы ночевали в десятках пяти крестьянских дворов -- и ни разу -- ни одного разу мы не сталкивались с желанием обидеть нас, или отказать в ночлеге нам, русским. Но даже в конце апреля и начале мая 1945 года -- за несколько дней до капитуляции, программа завоевания России стояла так же твердо, как у моей Валькирии в 1936 году. И ни один немец ни разу не предположил, что эта программа никакого восторга с моей стороны вызывать не может.

Я буду просить читателя войти в мое личное положение. Я обучался в Санкт-Петербургском Императорском университете. Нас обучали по преимуществу марксизму. Но так как у русской профессуры никогда ничего собственного за душой не было, то все что нам преподавалось, было основано на германской философии истории, истории философии и истории философского права, философии морали, -- все было взято из немецких шпаргалок. Душа всякого русского профессора была сшита из немецких цитат (здесь и дальше, я говорю только о гуманитарных науках). От моих тогдашних бицепсов эти цитаты отскакивали, как горох от стены, но общее впечатление все-таки оставалось: страна Гете и Гегеля, Канта и Шопенгауэра, Виндельбанда и Фихте -- этих имен хватило бы на хороший том. Потом пришла революция. Потом пришел концентрационный лагерь у полярного круга. Из этого концентрационного лагеря страна Гете и прочих приобретала особую заманчивость: вот там -- действительно культура и вот там, наконец, создается настоящая плотина, бруствер против социалистического разлива СССР. Еще позже, после убийства моей жены: только Германия предложила мне гостеприимство и защиту. И, вот, -- Валькирия...

...В моем ссыльном городке -- в Темпельбурге -- я как-то услышал победный рев военного оркестра. Этими победными ревами был пронизан весь эфир. Я попытался свернуть в сторону, но не успел: прямо на меня сияя ревушей медью и оглушая меня барабанным грохотом пер военный оркестр. Перед оркестром, как это, вероятно, бывает во всех странах мира, катилась орава мальчишек, вооруженная палками, деревянными ружьями и всяким таким маргаритиновым оружием. Над всем этим стоял столб раскаленной июльской пыли, а за мальчишками и оркестром, за басами и барабанами, тяжело и грузно, в пыли и в слезах, маршировали сотни две беременных немок.

Я повидал на своем веку разные виды, но такого даже я еще не видывал. Беременный батальон маршировал все-таки в ногу, отбивая шаг деревянными подошвами -- кожаных уже не было. В своих грозно выпяченных животах они несли будущее Великой Германии: будущих солдат и будущих матерей будущих солдат, будущих фюреров. Другие будущие солдаты и матери будущих солдат семенили рядом, ухватившись ручонками то за материнскую руку, то за материнский подол. Сзади ехал скудный обоз со скудными пожитками.

Это, как оказалось, были "Schlitterfrauen", по терминологии немецкого зубоскальства, -- жертвы английских налетов на Берлин. Их через Темпельбург гнали в какой-то лагерь: неужели нельзя было не устраивать этого беременного наряда?.. Оркестр гремел что-то воинственное, вот вроде "Wir fahren gegen England" или "Wir marschieren... tiefer und tiefer ins russischen Land". Мужья этих валькирий, действительно, куда-то доехали и куда-то улеглись --

до английского плена и до могилы на русской земле. Стулья и занавески, кофейная посуда и двуспальные кровати ("мечта каждой невесты", -- как говорила немецкая мебельная реклама), -- все это пошло дымом, вопия к небу и попорченной философии истории. Какой-то стоявший рядом старичок восторженно обернулся ко мне: "Вот это настоящее национал-социалистическое солдатство".

Действительно Soldatentum! Здесь ничего не скажешь! И ребят-то сколько?! Приказ есть приказ: приказано было рожать. В других странах идет пропаганда рождаемости, дают премии -- и ничего не выходит. Здесь достаточно было приказа. Мы -- народ без пространства -- Volk ohne Raum. Нам нужны новые территории. А для того, чтобы заселять эти новые территории -- нам нужны новые солдаты. Логика немного -- но есть приказ.

Я стоял в состоянии некоторого обалдения, пришибленный чувством жути, жалости и отвращения. Тяжкие животы тяжело плыли мимо меня, держа равнение и шаг. И, вот, сзади, в хвосте колонны, я заметил мою Валькирию. На своих маргариновых руках она несла еще какое-то потомство. Мать шла рядом, грузно колыхаясь еще одним "будущим Германии". Я подошел и помог. От Валькирии я узнал, что дом, в котором мы жили -- Фриденау, Штирштрассе, 16 -- перестал существовать. Перестала существовать и мебель, которую соседний д-р Фил купил у меня за двадцать тысяч марок. Берлин почти разбит. Муж Валькирии-старшей куда-то мобилизован и исчез в глубине русской земли -- попал в плен. Словом, как будто я оказался прав... Но обе Валькирии смотрели непоколебимо:

"А мы все-таки победим..."

Я их больше не видел. Не думаю, чтобы обе они успели бы и смогли удрать из Померании самостоятельно, вероятно, их выселили поляки. Думаю, что и сейчас они стоят на прежней точке зрения:

"А мы все-таки победим! Если не во Второй Мировой войне, так в Третей".

Русское словоблудие

Я склонен утверждать, что Гитлер на Германию не с неба свалился, точно так же, как Сталин -- на Россию: оба они есть продукты известного исторического процесса. А исторический процесс, путем очень нехитрой техники, подбирает тех людей, какие наилучше приспособлены именно для него. Техника не хитра: миллионы преторианцев победоносной революции всегда имеют выбор между Сталиным и Троцким, Гитлером и Ремом, между десятками остальных кандидатов в гениальнейшие, еще не дошедших до последнего забега. Идет жесточайший естественный отбор: непригодное вырезывается. Остаются люди, с наибольшей полнотой выражающие вождение победителей. Победители идут за тем, кто обещает все 100% -- и уж, конечно, не через 500 лет. Вырезаются все те, кто ста процентов все-таки стесняется и кто не обещает земного рая к завтрашнему восходу солнца. Гитлер есть такое же полное выражение германского социализма, как Сталин -- русского. Самая существенная разница заключается в том, что Гитлер пришел к власти как по маслу. Ленину и Сталину -- пришлось перешагнуть годы гражданской войны и десятилетия восстаний. Или, иначе: Гитлер органически вырос из прошлого всей страны, Ленин и Сталин выросли из своеобразного развития одного только слоя. Гитлер нашел страну, спаянную безусловным единством. Ленин натолкнулся на страну, восставшую десятками фронтов -- от скажем, Деникинского до, скажем Власовского. Над всей гитлеровской эпопеей веет мрачный дух Нибелунгов, и заключительный аккорд Второй Мировой войны с потрясающей степенью точности повторяет последнюю песнь героев, пьющих кровь своих друзей, гибнущих до последнего, -- только чтобы золото Рейна не досталось никому.

Гимназисты XXI века будут зубрить историю русской революции, -- как классический пример великого духовного подъема, жертвенности и святости, любви к ближнему своему и вообще "свободы, равенства и братства" -- Консьержери, Гестапо, ГПУ. Точно так же, как мы зубрили историю французской. Будут открыты или сфабрикованы бранные останки Гитлера и Сталина и над их

гробницами будут развеяться знамена Дахау и Соловков. Американские туристы, -- если они к этому времени еще уцелеют, -- будут приезжать в Берлин и Москву и на собственные деньги вздыхать о великом европейском прошлом. Почему нет? В парижском Пантеоне и до сих пор покоятся мощи французского Гитлера -- Наполеона Первого. Чем был он хуже Гитлера? Так же завоевал Европу для такого же нового революционного порядка, налагал такие же контрибуции, так же грабил художественные сокровища Италии и России. Лувр есть великий памятник великого грабежа. Так же убивал пленных и кончил приблизительно тем же -- походом на Россию. Правда, времена были черно-капиталистические, Наполеона не повесили, Россия отказалась даже и от репараций, истребление людей не носило все-таки такого звериного характера, как сейчас, в дни прогресса и социализма. По совести говоря, мне трудно понять "прекрасную Францию": можно ненавидеть Гитлера, но тогда не стоит тратить денег на Пантеон и времени на воспоминание об Аустерлице. Не следует также придерживаться учения того первого автора трудов по этической философии, который считал хорошим всякого вождя, укравшего чужую корову и плохим всякого укравшего мою собственную. После столетия полных собраний сочинений, посвященных всяческой философии и всяческой этике, мы, по-видимому, вернулись к исходным заповедям готтентотизма. Возвращается ветер на круги свои и осел на блевотину свою. Так вернулись и мы.

В силу всего этого нетрудно представить себе будущие учебники истории русской революции. Но пока они еще не написаны, пока смрад могил, в которых полузарыты около ста миллионов людей, еще не заглушен благоуханиями исторической науки и не завален профессорскими гонорами, -- нужно все-таки установить некоторые основные факты.

В данном случае, самый основной сводится к тому, что одна и та же социальная доктрина, выросшая из одного и того же источника, создавшая один и тот же государственный строй -- в Германии сплотила нацию в один монолит, а в России раздробила нацию, по меньшей мере, на два совершенно непримиримых лагеря: просоветский и антисоветский. Относительный вес того и другого можно оценивать по-разному. Но, во всяком случае, три миллиона старой русской эмиграции покинули пределы СССР (или им удалось покинуть пределы СССР), и около пяти миллионов новой русской эмиграции после 1945 года не хотели вернуться в СССР. Восемь миллионов взрослых людей, не желающих вернуться на родину -- это все-таки не невесомая величина.

Обе революции были подготовлены обеими интеллигенциями, но в Германии, немецкая интеллигенция выросла из традиции народа, была органически продуктом своеобразного развития страны. Русская интеллигенция была "беспочвенной" и "оторванной" и, следовательно, если и выражала собой какую-то традицию, то, во всяком случае, -- односторонне и уродливо. Откуда же взялся этот культурный слой, лишенный почвы?

Россия пережила самую тяжелую историю в мире. Это была история сплошной и голой борьбы за физическое существование. Эта борьба окончилась победой. Были разгромлены и добиты окончательно в последовательном порядке: монгольская империя, турецкая империя, польское королевство, шведское королевство, Наполеон и уже в наши дни -- Гитлер. Народная психика прошла совершенно своеобразную школу и выработала совершенно своеобразный государственный строй: русская монархия, в частности, НЕ соответствующая содержанию соответствующего европейского термина.

Внешняя история Московской Руси заканчивается полным разгромом двух опаснейших противников России: монгольских орд -- на востоке и шляхетской Польши -- на западе. Наступает некоторая относительная передышка -- семнадцатый век, в котором московское дворянство -- слой, созданный для организации вооруженной защиты страны -- пытается использовать свою организацию для захвата власти НАД страной. Это ему и удается в эпоху так называемых петровских реформ -- в эпоху "европеизации" России.

При жизни Петра Первого и в течение первых сорока лет после его смерти -- "европеизация" закончена. Рядом последовательных законов разгромлены парламент, самоуправление, церковь, купечество. Крестьянство переведено в состояние крепостных рабов. (Однако, и их число никогда не превышало 30% населения страны).

Разгромлена так же и наследственная монархия -- заклятый враг русской аристократии.

В допетровской Руси крестьянин был лично свободным и равноправным

членом национального целого. Был свой "габеас корпус акт", были сельское и городское самоуправление, были всероссийские съезды этого самоуправления, был парламент -- и вообще бессвязная, органически выросшая, ненаписанная "конституция" старой Москвы в изумительной степени напоминает сегодняшнюю конституцию Англии: ничего не написано, а все держится на традиции.

Эпоха Петра (сам Петр был тут более или менее не при чем) ликвидирует все это. Начинается "европеизация", но не по демократическому образцу Англии, а по феодальному образцу Польши. Возникает принципиально новый для России и принципиально для России неприемлемый рабовладельческий слой, лишенный каких бы то ни было обязанностей по отношению к государству. Страна отвечает пугачевским восстанием и почти непрекращающейся гражданской войной около каждой помещичьей усадьбы. Новое дворянство удовлетворило свою "похоть власти", как об этом говорит историк Ключевский. Но оно осталось в полном одиночестве. Органические связи оказались порванными. Польско-шведско-голландская культура скользит по поверхности нации, демократической в самих глубинных своих инстинктах, и служит только одному: дальнейшему отделению белой кости от черной кости и голубой крови от красной -- рабовладельцев от рабов. Русский образованный слой оказывается оторванным от всех корней национальной жизни. Он ищет корни за границей, и вот тут-то начинаются шатания из стороны в сторону -- от Лейбница к Руссо, от Вольтера к Гегелю и от Фурье к Марксу.

Русская интеллигенция была, по-видимому, самой образованной в мире, самой "европейской" -- редкий из русских интеллигентов не умел читать, по крайней мере, на двух-трех иностранных языках. И из всех этих языков пытался сконструировать себе "мировоззрение" с наибольшей полнотой соответствующее последнему крику интеллектуальной моды. Но все это было поверхностно, как кожная сыпь. Пришла она, великая и бескровная, долгожданная и давно спланированная, и тут начались вещи, никакой теорией не предусмотренные. Русская молодежь в феврале 1917 г. была социалистической почти сплошь. Через год именно эта молодежь пошла в Белые армии всех сторон света. Низы русской интеллигенции были социалистическими почти сплошь -- и через год начался их великий исход из социалистического отечества в капиталистическую за границу. Разум и инстинкт оказались оторванными друг от друга. Но и в переломный период истории взял верх инстинкт, во всяком случае, у подавляющего большинства. И вся столетняя философия русской интеллигенции оказалась тем, чем она была все эти сто лет: словесным блудом и больше ничем.

Беременный батальон, маршировавший по улицам Темпельбурга, был и жутким, и жалким зрелищем. Но в нем все-таки было нечто внушающее уважение: последовательность. Вера, пережившая даже и последние подвалы Имперской Канцелярии, пережившая даже и Нюрнбергский процесс. Это очень мрачная вера -- тема для будущей Песни о Нибелунгах. Это -- трагедия, но это все-таки не фарс. История русской интеллигенции была, в сущности, сплошным фарсом, который только благодаря истинно невероятному стечению обстоятельств привел к всероссийской катастрофе. А вместе со всероссийской и ко всемирной. Я не знаю, подозревают ли Томми и Сэмми, что Второй Мировой войной они заплатили именно за успех русской революции? Думаю -- и не подозревают. Но именно в русской революции Гитлер увидал "Перст Божий", указующий ему на "пустое пространство на востоке" -- на Россию, ослабленную революцией, на самый подходящий момент для войны.

Беременный батальон был, конечно, символикой. Была символика и в русской революции.

Лекционный зал в русской провинции, в 1908 году, в промежутке между двумя революциями: 1905 и 1917 года, а также и между двумя войнами: Русско-Японской и Русско-Немецкой. Заезжий из Петербурга профессор читает лекцию о земельном вопросе, о социализме и о том, почему и как нужно доделывать революцию, недоделанную в 1906 году. Профессор говорит нам о крестьянском малоземельи, -- что было правильно, и о колоссальных запасах земли у государства, -- что тоже было правильно. Не сказал только того, что государственная земля лежит у полярного круга, в средне-азиатских пустынях и в прочих таких местах. Говорит о "частном землевладении", что тоже было правильно, но не сказал о том, что бо'льшая половина этого "частного землевладения" давно стала крестьянской. Говорит о помещичьем землевладении, но не сказал того, что дворянская земля переходит в крестьянские руки со скоростью около трех миллионов десятин в год. Приводит в пример

Северо-Американские Соединенные Штаты, где государство образовало огромный земельный фонд для переселенцев ("Сэттлмент"), но не сказал того, что в САСШ населенность землевладельческих штатов была равна 10 -- 30 человекам на кв. км. У нас Приволжские губернии имели 80 человек на кв. км. И что во всей России 48% всей ее территории находятся в поясе вечной мерзлоты -- на глубине больше метра не оттаивает никогда. Профессор долгое время провел в САСШ и не напомнил нам, молодежи, что за все время своего государственного существования САСШ не знали ни одного иностранного нашествия, а нас регулярно жгли дотла то татары, то поляки, то немцы, то французы. Вообще же профессор призывал, конечно, к революции. И мы, молодежь, мы, юные, честные и жертвенные, мы, не погрязшие в мещанстве и косности, мы должны выше и выше вздымать знамя великой и бескровной социалистической Революции.

И, вот, в зале раздается крик: "казаки!" Казаков, во-первых, не было, а, во-вторых, быть не могло -- было время полной свободы словоблудия. Одна секунда, может быть, только сотая секунды трагического молчания и в зале взрывается паника. Гимназистки визжат и лезут в окна -- окон было много. Гимназистами овладевает великий революционный и героический порыв: сотни юных мужественных рук тянутся к сотням юных женственных талий: не каждый же день случается такая манна небесная. Кто-то пытается стульями забаррикадировать входные двери от казачьей кавалерийской атаки. Кто-то вообще что-то вопит. А профессор, бросив свою кафедру, презирая все законы земного тяготения и тяжесть собственного сана, пытается взобраться на печку...

Я почему-то и до сих пор особенно ясно помню эту печку. Она была огромная, круглая, обшитая каким-то черным блестящим железом, вероятно, метра три вышиной и метра полтора в диаметре: даже я, при моих футбольных талантах, на нее влезть бы не смог. Да и печка не давала ответа ни на какой вопрос русской истории: если бы в эту залу действительно ворвались казаки, они сняли бы профессора с печки. Положение было спасено, так сказать, "народной массой" -- дежурными пожарными с голосами иерихонской трубы. Все постепенно пришло в порядок: гимназистки поправляли свои прически, а гимназисты рыцарски поддерживали их при попытках перебраться через хаос опрокинутых стульев. Соответствующий героизм проявил, само собою разумеется, и я. Но воспоминание об этом светлом моменте моей жизни было омрачено открытием того факта, что некто, мне неизвестный сторонник теории чужой собственности, успел стащить мои первые часы, подарок моего отца в день окончательной ликвидации крестьянского неравноправия. Должен сознаться честно: мне по тем временам крестьянское равноправие было безразлично. Но часов мне было очень жаль: следующие я получил очень нескоро. Потом выяснилось, что я не один "жертвой пал в борьбе роковой", -- как пелось в тогдашнем революционном гимне. Не хватало много часов, сумочек, брошек, кошельков и прочего...

Много лет спустя я узнал, что профессор скончался в эмиграции. Мне было очень жаль, я бы с ним поговорил и мог бы дать, так сказать, заключительный штрих к этой символической картинке. Вот, в самом деле, "жертвенная" молодежь, убеленный органами усидчивости профессор, пропаганда "низвержения" и революции, -- и зловещие люди, кинувшие крик: "караул, революция!" Паника и в панике зловещие люди опытными руками шарящие по вместилищам чужой собственности. Профессор кидается на печку (эмиграция), гимназисты спасают своих юных подруг, но, к сожалению, пожарные в настоящей истории так до сих пор и не проявились: профессор помер на печке, крестьянское равноправие сперто вместе с моими часами, гимназисты погибли на фронтах гражданской войны, а зловещие люди и до сих пор шарят своими опытными руками по всему пространству земли русской -- собираются пошарить и по всему земному шару.

Революционная деятельность профессора кончилась фарсом. Революционный фарс русской интеллигенции кончился трагедией. Да и сейчас, перековка проф. Бердяева, бывшего марксиста, бывшего либерала, бывшего богоискателя, бывшего атеиста, бывшего монархиста и нынешнего сталиниста -- это все-таки фарс.

В истории германской революции фарса нет. В сущности, здесь всё безусловно трагично, как безвыходно трагична Песня о Нибелунгах и теория Дольхштосса, который один помешал великому народу выполнить свою великую миссию в этом так плохо, не по-немецки, организованном мире.

Зловещие люди в бронзе

В Германию, весной 1938 года, я приехал не при совсем обычных обстоятельствах: зловещие люди убили мою жену, сын был слегка ранен, я не находился в полном равновесии. И сейчас, восемь лет спустя, в памяти встает разорванное тело любимой жены и ее раздробленные пальчики, вечно работавшие -- всю ее жизнь. Болгарская полиция откровенно сказала мне, что бомба пришла из советского полпредства, что она, полиция, ничего не может сделать ни против виновников этого убийства, ни против организаторов будущего покушения -- может быть и более удачного, чем это. У нас обоих -- сына и меня -- были нансеновские паспорта, по которым ни в одну страну нельзя было въехать без специальной визы, и ни одна страна визы не давала. Нас обоих охраняли наши друзья, да и полиция тоже приняла меры охраны. Против уголовной техники зловещих людей, против их дипломатической неприкосновенности -- эта охрана не стоила ни копейки. И вот -- виза в Германию, виза в безопасность, виза в убежище от убийц. Не трудно понять, что никаких предубеждений против антикоммунистической Германии у меня не было.

Мы провели два месяца в санатории -- под фальшивым паспортом, которым снабдила нас германская полиция. Потом были первые встречи с германской общественностью. Я был принят как нечто среднее между Шалапиным сегодняшнего дня и Квислингом -- завтрашнего, но тогда еще никто не знал, что такое Квислинг. Обоюдное разочарование наступило довольно скоро, через несколько месяцев. Но пока что все было очень мило. И за всем этим было что-то неуловимое, но несомненно знакомое, что-то советское, революционное, какая-то неуловимая общность человеческого типа, общность духовного "я" у людей обеих, так ненавидящих друг друга революций. Было все-таки что-то братское.

Многочисленные ходатаи по делам и безделью, посещавшие красную Москву, вероятно, помнят две монументальные статуи, украшающие портал Дворца Труда -- Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов. Это -- рабочий и работница, строго выдержанные в идейной стопроцентности коммунистической программы: искусство в тоталитарных странах призвано не отражать жизнь, а формулировать идею. Не фантазию художника, а социальный заказ чрезвычайки. Оно должно куда-то звать. А, при неудаче зова, куда-то волочить. Куда могли звать или волочить пролетарские Аполлон и Венера, поставленные на страже советского Дворца Труда?

Московские статуи изображали металлиста и текстильщицу, стилизованных под советскую власть. Металлист представлял собой то, что в Германии назвали бы Rassenschande -- продукт кровосмесительной связи человека с гориллой. Над горильем туловищем -- мощные стальные челюсти, а над челюстями -- узкий медный лоб. Вся конструкция выражает предельную динамику: ублюдок куда-то прет. Все размеры мыслительной коробки не оставляют никаких сомнений в том, что ублюдок и понятия не имеет, куда и зачем ему следует переть. Но страшные руки готовы кого-то хватать и стальные челюсти -- кого-то кусать. В крохотных глазках выражены поиски классового врага, выражена ненависть ко всему, что есть в мире неублюдочного. О советской Венере я уж и говорить не буду: если у ублюдка хватит мужества ее поцеловать -- пусть он и целует...

И, вот, другой Дворец Труда -- берлинский клуб Арbeitsфронта. И скульптурное оформление идей Третьего Рейха в этом клубе, на площадях, в парках... Все несколько у'же, несколько ниже, но, в сущности, все то же самое: сжатые челюсти, стиснутые кулаки, узкие лбы и готовность куда-то переть и что-то крушить, -- переть и крушить по первому приказу, не размышляя ни о целях, ни, тем более, о последствиях. Московский ублюдок помещается в колоссальном здании, какого в Берлине вообще нет, здание было построено при Екатерине Второй для сиротского дома, берлинский арbeitsфронт занимает что-то вроде виллы. Русский питекантроп вырос на сале и черноземе, берлинский -- на песках и маргарине. У русского, так сказать, "широкий размах", берлинский пахнет бухгалтерией. У русского больше силы и ярости, у берлинского больше ненависти и расчета.

Бронзовая идеализация обеих революций не совсем точно воспроизводит живых представителей двух братских партий. У живых представителей лбы,

действительно, гориллы, -- но гориллей мускулатуры у них все-таки нет. Это люди, как общее правило, наследственные обитатели тех учреждений, которые в царской армии носили название "слабосильной команды" -- отбор физически неполноценных людей. Они вовсе не сильны -- эти живые носители власти и никогда не смогут быть окончательными победителями -- это грозило бы человечеству полным физическим вырождением. Они прорвались к власти и к крови только случайно, только потому, что мы, нормально скроенные люди что-то проворонили, прошляпили, прозевали, -- по недосмотру всего нормального человечества. Но, раз прорвавшись, они, действительно, будут переть и крушить -- ибо они объединены общим им всем чувством ненависти и еще чувством безысходности: от постаментов и монументов Москвы и Берлина дорога только одна -- на свалку. Они как-то, вероятно, в общем смутно, но все-таки ощущают и случайный характер своей временной победы, и кровавую черту, которая отделила их от всего остального человечества -- отсюда звериная настороженность гориллиных глазок.

Питекантропы были первым открытием, которое я сделал в Германии. Трудно доказуемым, но поистине страшным открытием, ибо оно давало совсем иной ответ на вопрос о причинах революций, чем тот, какой мы привыкли сдавать на экзаменах по истории, политической экономии, философии и другим смежным доктринам современной социальной астрологии. Этот ответ говорил, что социальная революция есть прорыв к власти ублюдков и питекантропов. Что теория, идеология и философия всякой социальной революции есть только "идеологическая надстройка" над человеческой базой ублюдков. Что "социальные условия" и социальные неурядицы не есть причина революции, а только повод, только предварительное условие: социальные неурядицы расшатывают скрепы социального организма, построенного нами, нормальными людьми для наших, нормальных людей, вкусов, потребностей и возможностей, и тогда в щели расшатанного организма врывается питекантроп. Что социальная революция устраивается не "социальными низами", а биологическими подонками человечества. И не на пользу социальных низов, а во имя вождельний биологических отбросов. Питекантроп прорывается и крушит все. Пока захваченное врасплох человечество не приходит в себя и не отправляет питекантропов на виселицу.

Это открытие было очень неудобным. Оно ставило крест над всякими разговорами о германском бруствере против коммунизма, оно делало мое пребывание в Германии бессмысленным и бесцельным, и оно определяло революцию, как вечно пребывающую в мире угрозу. Ибо, если неистребимо существует человеческий талант и гений -- то, на другой стороне биологической лестницы так же неистребимо существует ублюдок и питекантроп. Если есть сливки, то есть и подонки. Если есть люди, творящие жизнь, то есть и люди ее уродующие.

Но это открытие вносило полную неясность в другой вопрос: весь гитлеровский режим, вся национал-социалистическая структура власти была точной копией с ленинско-сталинской. Что же тут было? Сознательный плагиат или бессознательное подражание? Или, просто, одинаковые люди, поставившие себе одинаковые цели, автоматически пришли к одинаковой технике власти? Обокрал ли Гитлер Ленина, или только открыл ту же Америку, но только двигаясь не с востока, а с запада?

Напомню самые основные черты ленинского патента: государственная власть в стране принадлежит единственной партии -- оппозиция истребляется физически. Партия эта обладает единственно научным мировоззрением, другие мировоззрения уничтожаются. Во главе партии стоит единственно гениальный вождь -- конкуренты отправляются на расстрел. Единая партия, возглавляемая единым вождем, проводит единственно возможный план спасения человечества -- другие планы подавляются вооруженным путем. Эта партия опирается на избранный слой всего человечества (избранную расу или избранный класс) и проходит непрерывное чистилище расстрелов. Она ведет беспощадную войну со всеми врагами само собой разумеющегося, научно-обоснованного, математически неизбежного светлого будущего. Она подавляет внутреннего врага и она уничтожает внешних врагов. Воплощая в себе лучшие мечты лучших представителей человечества, она окружена остатками отжившего строя, вредителями, предателями, саботажниками, трусами и уклонистами. Но в ее руках находится беспощадный "меч революции", и будущее принадлежит ей: только идиоты и преступники не могут, или не хотят видеть неизбежности этой

победы: "революция это вихрь, который сметает всех ей сопротивляющихся". Именно для этой победы партия организует массы -- работников и работниц, мужчин и женщин, детей и сыщиков. Именно она приведет человечество к окончательному социалистическому раю на нашей земле. Да здравствует наша непобедимая партия! Да здравствует наш непогрешимый вождь!

Эта схема средактирована, так сказать, алгебраически -- в намеренно абстрактных выражениях. Но под любую абстракцию можно подставить конкретную величину Москвы или Берлина -- и вы получите программу любой социалистической партии -- и той, которая к власти уже пришла, и той, которая еще лицемерит по дороге к власти. Но в особенности той, которая к власти уже пришла и не находит нужным даже лицемерить.

...В самом начале войны знакомый немецкий художник спросил меня, как я озаглавлю ту книгу, которую я напишу, сбежав из Германии. Я сказал: -- Im Westen auch nichts Neues -- маленькая перефразировка заглавия когда-то знаменитой книги Ремарка против войны. Я, пока что, не успел сбежать, но обещанного заглавия не забыл. Да, собственно, нового ничего: наша железная единая коммунистическая партия -- наша железная единая национал-социалистическая партия. Наша единственно научная марксистская философия, -- наша единственно научная расистская философия. Наш непогрешимый Сталин -- наш непогрешимый Гитлер. У нас пятилетний план, -- у нас четырехлетний план. На страже плана ОГПУ-НКВД, -- на страже нашего плана ГЕСТАПО и SS. У нас ВЦСПС (совет профсоюзов), -- у нас Арбейтсфронт. У нас женотдел, -- у нас фрауеншахт, у нас комсомол, -- у нас Гитлерюгенд. Долой капиталистов! Долой плутократов! Будущее за нами! -- Будущее за нами! Да здравствует Сталин! Да здравствует Гитлер! Ура! Ура! Ура! Вперед на капиталистический Лондон -- по дороге через Берлин! Вперед на плутократический Лондон -- по дороге через Москву! Да здравствует мировая марксистско-расистская, ленинско-гитлеровская, гестапистско-чекистская революция ублюдков и питекантропов!

Это, конечно, только схема -- но это точная схема. В промежутках между ее основными линиями разместились и кое-какие индивидуальные отличия. Берлин резал евреев -- Москва резала троцкистов. Москва окончательно ограбила буржуев, а в Берлине буржуи еще не догадались о том, что они уже ограблены. Красных генералов было расстреляно на много больше, чем коричневых, а русских "пролетариев" в сотни раз больше, чем немецких. Основная разница все-таки в том, что немец повиновался -- и расстреливать его было, собственно, не для чего. Русский трудящийся ведет войну вот уже тридцать лет и расстреливать пришлось по необходимости. И еще, в том, что русский социализм пришел к победе на шестнадцать лет раньше немецкого. Впрочем, Берлин судорожно старался эти шестнадцать лет наверстать: "догнать и перегнать" совсем, как Сталин собирался догонять и перегонять Америку.

За одинаковым переплетом почти одинаковой тюремной решетки Третьего Рейха и СССР шел все-таки свой быт, разный в разных странах и у разных народов. Но даже и этот быт постепенно формировался во что-то до уныния похожее: так, тюремная камера постепенно сглаживает разницу характера, уровня и даже вкусов.

В Москве было издано шесть моих книг -- исключительно по спорту и туризму. Каждая книга проходила пять и шесть цензур, и я до сих пор все-таки не знаю: а сколько именно цензур существует в СССР. Бывало так: все мыслимые цензуры уже пройдены, Главлит поставил свою печать, и, вот повестка: явиться на такую-то улицу, дом номер такой-то, комната такая-то. Что за дом и комната, и учреждение -- понятия не имею. Иду. Какое-то вовсе неизвестное мне партийное учреждение, в нем какой-то вовсе неизвестный мне партийный товарищ, на столе у этого товарища -- оттиски моей книги по боксу. "А почему вы, товарищ Солоневич, не привели здесь решения такого-то партийного съезда"? Что общего имеет бокс с решениями партийного съезда? Оказывается -- имеет. Нужно было указать, что такой-то партийный съезд вынес такое-то решение по поводу "последнего и решительного боя" с мировой буржуазией и по поводу соответствующего воспитания широких трудовых масс. А так как пролетарский бокс тоже должен служить свержению одной мировой буржуазии, то нужно указать на его воспитательное значение, соответствующее решениям такого-то партийного съезда.

Бывало и иначе. Сидит в каком-нибудь главлитовском закулке пролетарская девица лет восемнадцати и говорит мне, что я, собственно, плохо

знаю русский язык. Мне -- за сорок лет. Я окончил старый университет, и занимаюсь литературной профессией лет двадцать. Русскую литературу я знаю, как специалист, и кроме русского языка я кое-как говорю еще и на трех иностранных -- девица же спотыкается на элементарнейшей русской грамматике. Я стараюсь не скрежетать зубами и дипломатически отвожу ее поправки к моему литературному стилю. И стараюсь доказать, что в русском языке есть все-таки слова и выражения, которые, очевидно, ей, девице, по молодости лет, еще как-то не попадались на глаза. Такие беседы постепенно приводят к перерождению печени. В особенности, если каждая книга стоит полдюжины таких бесед.

Если девица находит стилистические и идеологические возражения к моей книге, посвященной технике поднятия гирь, то простор ее компетенции и ее пинкертоновских инстинктов, по понятным соображениям, ограничен довольно узкими рамками. Но что, если соответствующая девица обоюбого пола начнет выискивать стилистические и идеологические уклоны в художественной литературе? И как при этом будет чувствовать себя -- или чувствовал бы себя, например, Лев Толстой? Совершенно очевидно, что Толстой с девицей несовместимы никак: кто-то должен уйти. Ушли Толстые.

Искусство должно "служить трудящимся", -- трудящимся же принадлежит и право суда: не рыночного читательского, а, так сказать уголовного, судебного. Кроме того, в избранную категорию трудящихся попадают не все: гнилая интеллигенция СССР и Третьего Рейха, понятно, трудящимися не являются. Катясь со ступеньки на ступеньку великой социалистической лестницы, понятие "трудящийся" сейчас опустилось ниже того уровня, который в капиталистические времена определялся термином "лumpенпролетариат".

Я уже писал о тех отрядах легкой кавалерии, которые были организованы советской властью для помощи кооперации, для контроля рыбных промыслов, для поднятия производительности тяжелой промышленности, для всего вообще. До них был просто кабак, после них начался пожар в кабаке. Власть подбирала окончательный lumpенпролетариат и, как свору собак, спускала их на настоящих трудящихся. Власть на жизнь и на смерть эти своры не имели, но они имели власть на донос, что во многих случаях означало то же самое. В числе прочих разновидностей социалистической конницы были сформированы отряды "для помощи писателям". Я полагаю, что братья с сожалением вспоминали о коннице Батя.

Влекомый недугом репортерского любопытства, я пошел на собрание, где легкая кавалерия должна была помогать писателю Пантелемону Романову. Родовспомогательная комната, где легкая кавалерия должна была помогать появлению на свет очередной новеллы П. Романова, была переполнена махорочным дымом и отбросами фабрично-заводских задворков. Какие-то безлобые юнцы, какие-то орлеанские девы русской революции, Господом Богом лишенные даже и прелестей флирта -- хотя бы и фабрично-заводского. За столом, вооруженный рукописью и графином воды, сидел П. Романов и судорожно пил воду -- вода уходила потом.

Новелла не блистала ничем. Это был скроенный по стандарту Главлита рассказ о том, как "мелочи быта" сбивают с революционного пути героев социалистической стройки. Это был тошный рассказ -- П. Романов умел писать кое-что значительно лучшее. Легкая кавалерия слушала внимательно и настороженно. Чтение кончилось. И кавалерия пошла в атаку.

Должен сказать откровенно: более гнусной атмосферы мне, пожалуй, никогда не приходилось видеть. П. Романов, конечно, не Лев Толстой, -- да и где уж тут, при Главлитах и их коннице?! Но это все-таки культурный человек с большой литературной традицией. И вот -- фабричные ребята, орлеанские девы и прочая такая сволочь вцепляются зубьями в каждую страницу: а почему герой или героиня поступили не так, а вот этак, почему товарищ такая-то не пошла в партию, чем заниматься всякими там любовями, почему тут в рассказе всякие диваны понаставлены, когда пролетарии на Магнитке в бараках живут -- ну и так далее в этом же стиле. Были высказаны и подозрения в "политической выдержанности" рассказа и вообще: не пытается ли автор "размагнитить" железную пролетарскую волю к стройке и борьбе? Нет ли здесь скрытого право-левого троцкистско-бухаринского уклона-загиба...

По лицу П. Романова, советскому лицу, тренированному на максимальную невыразительность, временами все-таки пробегала судорога -- то ли отвращения, то ли ярости, то ли и того и другого вместе. Но он не возражал. Попытался умиловительными оборотами речи проскочить один опасный пункт,

чтобы зацепиться на другом. Как в аналогичных случаях делал и я. Я сидел, слушал и предавался сладким, утопическим мечтам: вот бы снять со стола эту рукопись, вот разложить бы на этом месте парочку орлеанских дев, да чтобы взвод казаков с хо-о-рошими нагайками -- вот так, как в свое время было поступлено с аналогичной девой французской революции -- Теруань де Мерикур: ее пролетарки выпороли так, что она потом окончательно с ума сошла, на горе всему прогрессивно-мыслящему человечеству: эх, хотя бы полувзвод казаков...

Во имя простой справедливости должен сказать, что никаких ни политических, ни литературных последствий эта "творческая смычка" не имела и -- поскольку П. Романов "умел себя держать", -- и иметь не могла. Протокол собрания вел какой-то безграмотный юнец; я потом просмотрел и этот протокол; из него совершенно невозможно было понять что бы то ни было. Творческую точку зрения орлеанских девственниц они и сами забыли на другой же день. Рассказ до появления его в печати пройдет еще полдюжины цензур -- уже значительно более квалифицированных. Грядущие события бесследно сотрут из памяти благодарного потомства и творческие усилия девственниц, и судорожную благодарность писателя.

Вся эта "творческая смычка" (официальный термин) тогда казалась мне совершеннейшей бессмыслицей даже с точки зрения того сумасшедшего дома, в который социалистическое правительство посадило великую русскую литературу. Но я был не прав. Это не было бессмыслицей. Однако, смысл этого позорища я понял лет десять спустя -- в Германии.

...В Германии мои дела пошли довольно плохо. Германское правительство, после некоторых обоюдных разочарований, запретило продажу моих книг. Попытки сбежать в Америку не удались. Иностранные гонорары оказались отрезанными войной. Мне и моей семье глядел в глаза наш старый социалистический знакомый: голод. Кроме того, над моим сыном -- художником -- висела угроза мобилизации на военные заводы. Вообще было плохо. Но был найден и некоторый выход: жена сына, тоже художница, имела перед нами целую массу преимуществ: она не подлежала мобилизации по причине внука, она была финской подданной и она была художницей-анималисткой, а что может быть аполитичнее, скажем, собачьих портретов. Собачьи портреты выходили у Инги замечательно: каждый песик имел свою собственную, неповторимую в истории мироздания, индивидуальность; время же было военное, у публики было много, а купить в подарок нечего. Словом, были развешены объявления о собачьих портретах.

Пришли первые заказчики. Но вместе с первыми заказчиками появился дядя, предъявивший удостоверение какой-то разновидности какой-то полиции и поставивший свирепый вопрос: а имеет ли фрау Золоневич право рисовать, собачьи портреты? Состоит ли она членом национал-социалистической камеры изобразительных искусств -- ну и прочее в том же роде.

Дело приняло оборот, непредусмотренный даже и моим социалистическим опытом. В области "организации" немцы, оказывается, кое в чем перешагнули даже большевиков: те до партийно-государственного контроля над собачьими портретами все-таки не додумались. Наша иностранная отсталость в деле немецких социалистических достижений несколько смягчила тон полицейского дяди. Кары не последовало, но последовал приказ: пройти испытание и регистрацию в указанной культурной камере.

Покидая берлинское заведение по контролю над искусством, мы встретили довольно древнего старичка, который с каким-то жадным любопытством спросил меня, как прошло наше дело. Я ответил, что все сошло благополучно -- но не вдавался в детали. Старичок сказал жалобно: "А я, вот, хожу сколько уж раз, и все не дают разрешения"... Старичок, как оказалось, рисовал открытки, на которых слегка по-детски, акварелью, были набросаны нехитрые пейзажи в бидемайеровском стиле: тирольская избушка, горы, лес, коровы, и все такое. До вступления в законную силу партийно-идеологического плана полицейского контроля над искусством открытки эти имели сбыт, и старичок был сыт. Теперь старичок не может проникнуть в святая святых планируемого искусства и ему все говорят, чтобы он еще и еще над собою поработал, проникся партийным мировоззрением и поставлял бы идеологически выдержанные открытки.

Старичку было пора поработать над собственными похоронами: он был уж очень стар. И уж, конечно, ему не на что было дать взятку партайгеноссе Леснику, который охранял врата камеры изобразительных искусств.

Партайгеноссе Лесник, как я узнал несколько позже, был недоучившимся студентом какой-то художественной школы. Сейчас, сидя на высоком своем

посту, он, надо полагать, поучал не одного старичка. И не его одного отсылал назад -- по не совсем арийскому происхождению, по не совсем твердым познаниям в области гениальных мыслей фюрера, по не совсем твердо установленному отсутствию элементарного "вырождения" и по всяким другим, столь же веским поводам. Во всяком случае -- какие-то немецкие художники должны были проходить через такое же социалистическое чистилище, какое проходил советский писатель П. Романов.

Московское чистилище показалось мне совершеннейшей, абсолютной бессмыслицей. Но если соответственное предприятие имеет и Берлин -- то говорить о совершеннейшей бессмыслице было бы слегка легкомысленно. Повторяющиеся явления должны же иметь какой-то смысл, какую-то общность и происхождения, и цели? Так, постепенно я пришел еще к одному открытию: легкая кавалерия Москвы, партайгеноссе Лесник Берлина, арийские удостоверения и пролетарские удостоверения -- все это есть техническое орудие духовного террора.

Если НКВД в России и Гестапо в Германии призваны проводить физический террор, пятилетка в России и четырехлетка в Германии -- экономический террор, то органы контроля над литературой и живописью проводят духовный террор. Они должны: а) запугать интеллигенцию и б) показать социалистической бюрократии ее власть над этой интеллигенцией. Они должны подчеркнуть грань, отделяющую победителей от побежденных, поднять у lumpenпролетария чувство самоуважения, -- если здесь вообще можно говорить о каком бы то ни было уважении к чему бы то ни было. В соответствии с разной психологической структурой разных народов применяются несколько разные технические приемы: в Германии бюрократия нацеливается больше всего на взятку. В России каждый подонок больше всего хочет почувствовать свою власть, вот правительство и бросает ему обглоданную кость этой иллюзии: подонок чувствует себя участником власти, человеком, решающим судьбы, судьей в вещах, в которых он не понимает ни уха, ни рыла. На русском языке нет даже такого термина "Geltungstrieb" -- стремления быть важным -- тяга к некоему самоутверждению, но именно "воля к власти" выражена в русской массе гораздо выпуклее, чем в немецкой. И именно эту волю кое-как насыщают великие принципы кавалерийских налетов на литературу и рыбные промыслы. Да и не только они одни... Немецкой массе немецкий фюрер говорил прямо в лицо: ты -- дура и все вы дураки, а единственный умный -- это я. Русской массе ежедневно внушали чувство умственного превосходства над всем остальным миром -- и русский фюрер есть только отражение бескрайней гениальности русского подонка. Легкая кавалерия не получала и не могла получить никакой взятки -- ее вознаграждение оставалось, так сказать, в чисто духовной плоскости. Организация немецкой социалистической бюрократии была приноровлена главным образом, для взятки. Немецкая масса должна была повинаться и уж никак не рассуждать. Русская масса имеет юридическое право забаллотировать товарища Сталина при любых выборах (попробуйте забаллотировать!). Советская пропаганда направлена на "революционную сознательность", немецкая -- на казарменную дисциплину. Эти психологические оттенки почти не меняют структуры обоих социалистических правительств, но, мне кажется, что в конечном итоге, именно они играют решающую роль. Именно они в России вызвали и в Германии не вызвали гражданскую войну и всех тех последствий, которые были связаны и еще будут связаны с гражданской войной во всех ее разновидностях. "Масса" действует неодинаково -- русская и германская. Неодинаково действуют и верхушки и отбросы этой массы -- коронованные и некоронованные Романовы, коронованные и некоронованные Гогенцоллерны: совершенно невозможно представить себе русского великого князя в рядах коммунистической партии или германского "академикера" на фронте партизанской войны. Почти так же трудно представить себе русского lumpenпролетария, накапливающего награбленные деньги или немецкого, разбрасывающего награбленные кредитки в толпу завоеванного города -- как делали русские красноармейцы с банковской наличностью Берлина.

Обе великие социалистические революции выросли на слишком уж разных территориях -- географических и психологических. Но обе они были социалистическими. И для обеих их режим террора -- физического, экономического и духовного -- являлся основным условием их бытия, их побед и их гибели.

Разные разницы

Изобретателем современного социалистического строя обычно считают Ленина. Это не совсем верно -- властители дум старой русской интеллигенции изобрели все это во второй половине прошлого столетия. Но Ленин украл их патенты: на единую партию и единого вождя (изобретение Лаврова), на режим террора (изобретение Михайловского), на колхозы (изобретение Чернышевского). Но Ленин умер в период отступления при "новой экономической политике", и деталей дальнейшего социалистического строительства он разработать не успел. Все дальнейшее принадлежит Троцкому: трудовые армии (в Германии "Арбайтс-динст"), поголовная милитаризация страны (в России -- Осоавиахим, в Германии R.I.S.V.), борьба против интеллигенции, организация женщин и детей, профессиональных союзов и прочего в этом роде. Если бы в мире существовала хоть какая-нибудь справедливость, то в кабинете каждого немецкого партайгеноссе, рядом с портретом Адольфа Гитлера должен был бы красоваться портрет Льва (или Лейбы) Троцкого. В таком случае национал-социализм должен был бы оказаться, так сказать, "хальбюде" -- полуевреем. Или, по крайней мере, в его духовных жилах оказалось бы по меньшей мере четверть еврейской крови. Другая четверть оказалась бы славянской. Я, конечно, не собираюсь претендовать на точный процент национальных слагаемых в гигантском нагромождении современного социализма. Здесь поистине, "несть ни эллина, ни иудея" -- как в современной электрической лампочке. Но здесь нет и справедливости: портрет одного из основных конструкторов социалистической машины -- товарища Троцкого -- точно так же невозможен в СССР, как он был невозможен в Третьем Рейхе.

Сам Сталин не выдумал решительно ничего нового, -- своих мыслей у него не было никогда. Их не было никогда и у Гитлера. "Мейн Кампф", при всей его трагической роли в истории Европы, -- одна из самых бездарных книг нашего столетия. Никакими талантами не блещут и произведения Сталина. Если когда бы то ни было в политике существовало убийство с целью грабежа, то именно этим и прославился Сталин: он ликвидировал Троцкого и выпотрошил все его идейные карманы -- до Днепростроя включительно. (Идея индустриализации вообще и Днепростроя в частности тоже принадлежала Троцкому: Сталин был тогда против: "строить Днепрострой -- это значит отнять корову от мужика и на вырученные деньги купить ему граммофон". Это была сталинская формулировка.)

Потом Гитлер пытался совершить ограбление с целью убийства: спереть сталинскую социалистическую систему и с ее помощью зарезать Сталина. Знал или не знал Гитлер, что вся техника его антимарксистского и антисемитского режима целиком скопирована с марксиста Ленина и с еврея Троцкого? Был ли этот плагиат сознательным и обдуманным? Или одинаковые цели, чисто механически, вызвали одинаковость методов? Русские революционеры очень тщательно изучали и подвиги, и ошибки своих великих французских предшественников.

Изучал ли Гитлер стратегию и тактику Ленина-Сталина-Троцкого? К моменту прихода к власти Гитлера -- советская система имела уже целых шестнадцать лет практического и кровавого опыта, советское ВЧК-ОГПУ работало уже целых шестнадцать лет! Создано ли Гестапо на основании уже проверенных методов ВЧК или творческий путь национал-социалистической тайной полиции был проделан независимо и самостоятельно? На этот вопрос у меня ответа нет. В германской социалистической литературе нет, -- насколько я знаю, -- никаких ссылок на предшествующий живой опыт русского социализма. Но ведь Освальд Шпенглер, списывая с Достоевского и с русских славянофилов, которых он не мог не знать, тоже ни одним словом не обмолвился о своих предшественниках. Литературный плагиат, если он не слишком груб -- почти недоказуем. Как можно доказать его в политике?

Остается бесспорным: обе партии называли себя социалистическими и рабочими -- и каждая из них отрицала право другой на это наименование. Обе партии выросли из одного и того же материнского ложа -- и каждая из них обзывала другую подкидышем. Обе партии построили совершенно одинаковую систему управления -- и каждая из них обзывала другую насильнической и кровавой. Остальные социалистические партии Европы до настоящей власти еще

не доползли и они еще где-то по дороге. Их великое будущее еще пребывает в состоянии зародыша. Зародыш этот, вероятно, еще даст свои побег, распустится пышным цветом виселиц и прочего. Других путей нет и у других социалистических партий. Уже и сейчас иудины лобзания медового месяца мировых социалистических съездов начинают терять в своей страстности. Уже и сейчас отношения между социалистическими партиями Блюма и Торреза во Франции, Пика и Шумахера -- в Германии, с изумительной степенью точности повторяют отношения между меньшевиками и большевиками в царской России. Ножи еще спрятаны, ибо власти еще нет. Настоящая же социалистическая власть приходит не с парламентским большинством, не с национализацией кинопромышленности и даже не с захватом банков: она приходит с ликвидацией буржуазной (демократической, капиталистической, плутократической и вообще реакционной) полиции. Пока существует эта полиция -- есть свобода слова и свобода сквернословия. Но нет свободы для ножа.

У Пика и у Торреза нож будет подлиннее. Но может быть и Блюм с Шумахером как-то изловчатся пырнуть своих противников первыми? Это сомнительно. Разными путями пролетарии всех стран идут в единственное место их окончательного объединения -- на тот свет, не предусмотренный даже и Карлом Марксом.

Так, по разному пошли и пути двух величайших социалистических победителей в Европе -- коммунистов и нацистов. Так, всякая река рождается из дождя и, в конечном счете, впадает в океан. Всякий социализм рождается из ненависти и впадает в могилу. Но по дороге он проходит разные места и делает разные излучины.

В случае с Россией и Германией иронические замашки истории кое-где приняли характер форменного издевательства. Русский социализм вырос из традиционного космополитизма русской интеллигенции и из традиции Империи, включающей в себя полтораста разных народностей. В сущности, космополитическим был и старый режим: царскими министрами были и поляки, и армяне, и немцы, и татары. Германский национал-социализм вырос из шовинистической традиции Пруссии, из национальной замкнутости прусского королевства, из того национального бахвальства, которое, может быть, является только отражением некоего комплекса неполноценности. Во всяком случае, в Германии Вильгельма I-го и II-го никак нельзя представить себе чеха премьер-министра или поляка министра иностранных дел. В России это было в порядке вещей.

Отсюда -- русский социализм поднял знамя "трудящихся всех стран", а верхушка коммунистической партии ленинского призыва представляла собою истинное вавилонское столпотворение: были и русские, и евреи, и поляки, и татары, и грузины, и Бог знает, кто еще. Верхушка гитлеровской партии состояла только из немцев. Правда, немцы были тоже какие-то сомнительные, не совсем Райхсдейче, а сам Гитлер германцем и вообще не был. Но, во всяком случае, германский социализм, -- в соответствии со всей тысячелетней традицией германского народа, -- сразу принял шовинистический характер: раса господ.

Россия Третьего Коммунистического Мирового Интернационала, "родина трудящихся всех стран", к концу войны превратилась в запретную страну для всех трудящихся всех остальных стран. Первое в истории человечества правительство, которое объявило религию -- всякую религию -- абсолютно несовместимой с существующим строем, воссоздало русский патриархат и в уцелевших от великого атеистического разгрома русских церквях недорасстрелянные священники служат молебны о Сталине.

Германия в конце концов была переполнена иностранцами. Именно германская армия стала поистине армией интернационала: кроме легальных вассалов Гитлера, там были и полулегальные -- испанские, французские, бельгийские и прочие добровольные дивизии. Почти любой поляк имел возможность принять германское подданство ценой вступления в армию -- во многих случаях это было равносильно спасению и я не слыхал о поляках, которые спасали бы свою жизнь таким путем. Были даже русские дивизии -- чем не интернационал?

Хозяйственное различие между СССР и Третьим Рейхом это первое, что бросается в глаза даже поверхностному наблюдателю. Двадцать два года советского властвования -- от 1917 до 1939 года -- до начала Мировой войны, привели Россию к поистине неслыханному разорению. Шесть лет гитлеровского

властвования вызывают споры еще и сейчас. Немцы, ныне сидящие на скудном оккупационном пайке, рассматривают довоенное шестилетие, как время неслыханного расцвета: безработица была ликвидирована, марка была стабилизирована, строились дороги и дома. И ничто не было разорено.

Причины ликвидации безработицы можно искать в общем смягчении мирового кризиса. Я думаю, это будет недостаточным объяснением. Можно искать и в гитлеровском, "плановом хозяйстве". На тему о кризисах, безработице и процветании имеется, кажется, около полсотни разных теорий. Я предлагаю пятьдесят первую. Надеюсь, что она не будет глупее первых пятидесяти.

Тихий грабеж

Российская социал-демократическая партия во главе с товарищем Лениным захватила власть и разогнала Учредительное Собрание. Страна ответила гражданской войной. Мирное завоевание оказалось невозможным. Интеллигенция объявила всеобщую забастовку, рабочие железных дорог угрожали транспортной забастовкой, в столицах сразу стало нечего есть, а на всех окраинах стали формироваться зародыши будущих армий Деникина, Колчака, Юденича, Чайковского и прочих. "Буржуазия" бросала все и бежала -- кто за границу, кто в Белые армии.

Немецкий проф. Шубарт в своей книге "Европа и душа Востока" скорбно и иронически пишет: "Когда Наполеон взял Берлин -- немцы стали навтыяжку, когда он взял Москву, русские подошли свою столицу". Лев Толстой в "Войне и Мире" мельком описывает деревенского лавочника, который вчера бил своих баб за панические слухи, а сегодня, узнав, что Наполеон действительно приближается, поджег свой дом со всем своим скарбом и ушел в лес: "решилась Расея".

Психология вытяжки и поджога сказалась и в двух внутренних завоеваниях: немцы стали перед Гитлером во фронт, в России загорелся тридцатилетний пожар. Гитлеру подчинились даже и Гогенцоллерны, в России отказал в подчинении Ленину даже мужик. В России Гражданская война прошла до последнего таежного закоулка, нацистам пришлось выдумывать "завоевание власти", полученной совершенно мирным путем. Окончательные результаты подсчитывать еще рано.

Германская и русская, раньше и французская революции, проявили необычайный "динамизм" -- тенденцию к мировому утверждению своей идеи. Историки в этих случаях говорят о "стихии", о "горении", об "энтузиазме" и о всяких таких само собой понятных вещах. Мне кажется, что во всех этих "стихиях" основную роль играет все-таки стихия грабежа.

Комиссары французского конвента Францию успели ограбить дочиста. Комиссары русского политбюро -- Россию. Комиссары национал-социализма успели подобрать к своим рукам и дома, и мужика, и Круппа. В стихийном процессе этого грабежа более оборотистые энтузиасты успели уже округлить свои капиталы и оказались склонными к покою и пищеварению. Они достигли своего и они резонно полагают, что вместе с ними достигла своих целей и революция. Их объявляют оппортунистами и отправляют на виселицу (на гильотину или в подвал). Ибо есть же энтузиасты менее оборотистые или менее удачливые, которые столь же резонно скажут: "А мы-то за что кровь свою проливали?" -- и станут "углублять революцию".

Всякие революционеры воспитываются в страхе и ненависти и им трудно представить себе, что где-то есть легкомысленные люди, которые не испытывают перед ними, революционерами, ни ненависти, ни страха, которые принимают их, революционеров, не очень всерьез и вовсе не собираются ни судить, ни вешать. Жадность и страх толкают "стихию" на идейную экспансию в мировых масштабах.

Здесь все перепутывается в один клубок: вооружение толкает на экспансию и экспансия требует вооружения. Здесь труден первый шаг, дальнейшее идет автоматически, и, что самое страшное, -- неизбежно.

Гитлер и Геринг успели ограбить подданных Третьего Рейха так, что подданные этого и не заметили. Десятки миллиардов вложены в орудия.

Девяносто миллиардов вопиют к небесам о процентах. Что случилось бы с Гитлером и Ко, если быв один прекрасный день удалось созвать мирную конференцию и подписать некий всеобщий договор о разоружении? Тогда пришлось бы перековывать орудия -- во что именно? Тогда пришлось бы переписать векселя национал-социалистического государства -- но на чье имя? Кто взял бы на себя оплату этих чудовищных векселей? Кто вернул бы шестидесяти миллионам вкладчиков их кровные пфеннинги и марки? Только война, и только победная война, открывала новые Эльдорадо. И только война давала выход из политики тихого грабежа.

В России обстановка сложилась, несколько иначе и грабеж носил несколько иной характер. Я не знаю -- врожденное ли это качество или воспитанное, но русский человек питает некоторое безразличие к материальным благам жизни. За последние пятьсот лет страна переживала иностранные нашествия в среднем раз в пятьдесят лет. После таких нашествий, естественно, возникали явления инфляции, девальвации, дефляции и прочих таких вещей. В промежутках между нашествиями случались и другие неприятности, в значительной степени вызванные перенапряжением всех сил народного организма, например, гипертрофия правительственного аппарата. Было и крепостное право, которое ограничивало накопительные тенденции обеих сторон: и мужика, и барина. Мужик не было никакого смысла копить, пока существует крепостное право, все равно барин все отберет. А когда оно перестанет существовать, я все равно все отберу у барина. На такой же точке зрения стояло и дворянство: пока есть крепостной мужик -- можно содрать с него, а после него -- все равно потоп! Вооруженный разбойник отберет у меня всю мою портативную наличность и бросит меня на произвол судьбы. Вооруженный энтузиаст отберет у меня не только наличность, но и недвижимость и затем, под угрозой ножа, заставит молиться своему уродскому богу, а если я стану молиться не очень убедительно -- зарежет и меня без всякого расчета на дальнейшее извлечение из меня какой бы то ни было прибавочной стоимости. Я не хочу восторгаться Аль-Капоне. Но я предпочитаю его и Сталину, и Гитлеру -- даже и вместе взятым. Вопрос о выборе между Сталиными Гитлером решается в зависимости от личных и национальных вкусов.

История русского социализма очень похожа на подвиги тех египетских коров, которые съели все и не насытились. Сейчас, впрочем, не особенно благоденствуют и немецкие социалисты. Но у немецких социалистов был все-таки период материального благоденствия -- у советских его никогда не было. В СССР царствует некоторое равенство нищеты, этакая спартанская дисциплина завтраков, обедов и ужинов, сапога, штанов и кепок, жилплощади, распределителей и Лубянок -- равенство общего бесправия и всеобщей нищеты. Верхи -- сыты, низы -- вечно голодны, "среднее сословие" качается между сытостью и недоеданием.

В русском коммунизме больше напора. В немецком -- больше расчета. В немецком -- больше воровства, в русском -- больше расстрелов. Думаю, что для писателя-психолога, вот, вроде Достоевского, русский коммунист безмерно интереснее.

Русский коммунист действовал по египетски-коровьему принципу: сожрал все, сам остался голодным и привел страну в такое состояние, что даже и нацистам грабить было нечего. Грабила Германия, как государство: вывозила хлеб. Но хлеб, как объект личного грабежа, не имел никакой ценности. Для личного обогащения грабить было нечего. Служба на востоке означала для германского нациста нечто вроде ссылки. Служба на западе -- определенную привилегию. На востоке было опасно, холодно и голодно. На западе были и бриллианты, и золото, и картины, и меха, были винные погреба и старинная мебель, были доллары и акции. На востоке ничего этого не было. Русские предшественники германских социалистов хозяйничали здесь уже двадцать пять лет. Все ценности России ушли за границу для стройки оружия мировой революции, для оттачивания ножей, устремленных в животы мировой буржуазии. Но, когда наступила война, выяснилось, что ножи советского производства и плохи, и их мало, что чудовищное разграбление страны было произведено более или менее впустую, и что приходится идти на поклон к той же мировой буржуазии, которая снабдила оружием одних социалистов против других социалистов. Таким образом, великий четверть-вековой грабеж земли русской оказался, в конечном счете, только разбазариванием.

Остался голоден даже и коммунист. Если это и может служить утешением,

то только очень небольшим.

Мне было трудно сформулировать: в чем именно заключается моральная разница между русским коммунистом и немецким нацистом. Лично для меня русский коммунист гораздо отвратительнее, чем немецкий нацист. Но это приходит вовсе не вследствие того, что нацизм лучше коммунизма или наоборот. Это вопрос чисто личного отношения: так изо всего семейства обезьян самыми отвратительными нам кажутся самые человекообразные, они слишком уже близки к какой-то злобной карикатуре на "гомосапиенс"-а.

География и подготовка

Социализм не отменил ни истории, ни психологии народов. Германская революция и конец германской революции все-таки повторяют основные психологические мотивы "Песни Нибелунгов". Итальянская революция и конец ее все-таки смахивают на оперу -- или, если хотите, на балаган: плащи, заговоры, предательства, и последнее убежище Муссолини -- в каком-то декоративном горном гнезде, откуда его сценически спасают рыцари германской Люфттваффе -- все это как-то не очень серьезно. Так и кажется, что вот, все эти сценические герои и злодеи, теноры и басы, снимут с себя подвязанные бороды, смоят оперный грим и пойдут в тратторию пить жидкое вино и хвастаться еще более жидкими победами. Последний акт берлинской песни о Нибелунгах все-таки достигает насыщенности древне-греческой трагедии: под пылающими развалинами Берлина, без пяти минут "мировой столицы", Великий Вождь Великой Страны засовывает в рот ствол револьвера, а последние дружинники готовят ему погребальный бензиновый костер. И вместе с вождем, как и в древние времена, приносятся в жертву его кони (Геббельс) и жены (Ева Браун). Воины взрывают последнее золото (мосты) Рейна и Эльбы, жгут склады хлеба и консервов, чтобы не досталось никому. Во всем этом есть свое зловещее величие. Но Муссолини, переодетый в бабье платье, пойманный по дороге, как мелкий воришка, убитый и выставленный на оплевывание лаццарони -- это смесь Борджиа и Боккачио, смесь похабщины и крови, балагана и застенка. В русской революции незримо, но ощутительно присутствует дух монгольских орд -- дух дикой конницы, вооруженной самой современной техникой управления -- по тем временам китайской техникой.

Все три революции -- русская, итальянская и германская, как полтора столетия тому назад и французская революция, поставили себе "общечеловеческие цели" -- цели ограбления, по мере возможности, всего человечества. Принимая во внимание наличие океанов и прочих водных преград "все человечество" эквивалентно в этом случае Европе. Французской революции удалось ограбить почти все. Это же удалось и германской революции. Не знаю, удастся ли русской. Революционные армии Карно, полученные Робеспьером в наследство от старого режима, были все-таки лучшими армиями Европы тех времен, как германские армии Вильгельма II и Гитлера были, вероятно, лучшими армиями Европы наших лет. Красная армия, несмотря на полное восстановление погон, традиций и уставов царской армии -- это еще Сфинкс, облизывающийся на своего очередного Эдипа. Гитлера она кое-как съела -- правда, не без посторонней помощи. Но если бы Гитлер проявил хоть чуть-чуть больше догадливости -- Красная армия перестала бы существовать уже в 1942 году -- она перебежала бы (перешла бы) на сторону любого русского, но антибольшевистского правительства. Адольф Эдип не разгадал загадки -- и был проглочен. Сегодняшние мирные конференции переполнены очередными Эдипами. А Сфинкс, проглотивший Гитлера, остался еще более голодным, чем он был до этого пиршества. Говоря очень схематично -- в России было достаточно простора для разбоя, в Германии внутренне-разбойные возможности были сильно ограничены. В России был, так сказать, "размах", в Германии -- расчет. В России социализм грабил "внутренние ресурсы" страны, Германия нацеливалась больше на внешние... Но над обеими странами развивался один и тот же кроваво-красный стяг революции, правда, со свастикой в Германии и с серпом и молотом -- в России: нужны же какие-то опознавательные различия, чтобы в братских

объятиях пролетариев всех стран всадить свой нож, по крайней мере, не в свою собственную спину...

Но все это, в сущности, второстепенно: Гитлер вместо Сталина, Гестапо вместо НКВД, "организация Европы" вместо "мировой революции" и Дахау вместо Соловков. Да, поразительно сходство двух режимов в двух странах, так непохожих друг на друга. Да, поразителен параллелизм развития всех трех великих революций: французской, русской и германской. Но самое поразительное и самое страшное -- это общность того человеческого типа, который делает революционную эпоху, той "массы", которая вздымается на гребне революционной волны -- и прет к своей собственной гибели.

Жулики и масса

Люди, которые прочно уселись на престолах университетских кафедр, люди, которые пишут книги "для избранных" и поучают нас, грешных мира сего, любят оперировать терминами "масса", "стихия", "народ". В исторической публицистике очень тщательно разработан этот, в сущности, довольно нехитрый трюк: вместо *deus ex machina*, который в нужный момент появляется сквозь люк в полу эллинской сцены, -- сквозь дыры исторической аргументации выскакивает "масса", "стихия" и прочее. Эта масса действует разумно, пока она следует предписаниям данного историка, философа, публициста и перестает действовать разумно, когда эти предписания проваливаются, что случается с истинно унылой закономерностью. В зависимости от политических вкусов данного автора, эта масса снабжается разными прилагательными: говорят о "трудящейся массе" и говорят о "некультурной"; говорят о "слепой массе" и говорят о "стихии революции"; говорят о "пролетарских массах", несущих миру новое евангелие, но говорят и о "черни", "плебсе" и толпе. Прилагательные эти слегка меняются: так, до февраля 1917 г. для русской интеллигенции русская "масса" была "богоносцем" -- до тех пор, пока она "свергла самодержавие"; после свержения Керенского -- масса перестала быть богоносцем и превратилась в "толпу". В дальнейшей своей эволюции масса стада чернью и плебсом, и вообще отбросами человечества. Постепенную смену прилагательных можно легко проследить по описаниям хотя бы того же Ив. Бунина. В дни его сотрудничества с Лениным русский народ был, конечно, "богоносцем", правда, атеистическим, но все-таки богоносцем. После победы Ленина тот же народ таинственным образом стал просто сволочью, для которой нужны "пулеметы, пулеметы и пулеметы". Потом тот же народ оказался "спасителем отечества" и "устроителем нового мира". Ивана Бунина я беру в качестве персонификации русской интеллигенции, самой современной и классической революции. Можно взять и другой пример: Адольфа Гитлера. Пока германская масса перла к Сталинграду и Аль-Амейну -- она была сливками человечества. Когда ее поперли от Сталинграда и Аль-Амейна -- она оказалась отбросом истории: так ей и нужно. Карлейль восторгался французской массой, пока наполеоновская "личность", сидя на этой массе, перла на Москву, и перестал восторгаться, когда масса, окончательно улегшись костями на русской земле, предоставила Наполеону расхлебывать и Лейпциг, и Ватерлоо. Но русский пример является все-таки самым классическим и самым современным. Об Ив. Бунине я только что говорил, но Ив. Бунин является художником, а, как известно, для художника писаны не все законы: "ветру и орлу, и сердцу девы нет закона -- таков и ты, поэт: и для тебя закона нет". Но есть люди, для которых законы, по крайней мере, "законы общественного развития", должны были бы существовать: за исследование именно этих законов, мы, налогоплательщики, платим деньги этим людям, что-то должны они уж знать!

Русская интеллигенция занималась, по преимуществу, "исследованием законов общественного развития" -- правда, преимущественно по немецким шпаргалкам. Не будем обижаться: самый красивый профессор не может дать больше того, что он имеет, а имеет он очень мало. Во всяком случае, такие величины первого ранга, как проф. П. Милюков и проф. Н. Бердяев что-то, кажется, должны были бы знать о "массе", которая "решает историю", или, по

крайней мере, "делает историю", -- ту историю, которую эти люди изучали профессионально. Проф. Бердяев начал свою научную карьеру с проповеди марксизма, потом перешел в монархизм и призывал возвратиться к феодализму -- и, пока что, закончил сталинизмом. В промежутках он разыскивал разных богов -- кажется, не нашел ни одного долговременного. Проф. Милюков совершал колебания менее широкой амплитуды: он всю свою жизнь нацеливался на министерский пост, а когда с этого поста "масса" его вышибла, то она оказалась "некультурной", "отсталой", политически безграмотной и вообще незрелой для тех рецептов, которые ей давали: Бунин, Бердяев, Милюков, Керенский, Ленин, Троцкий, Сталин, Бухарин и еще человек пятьсот. Вообще, масса действует провиденциально, пока она катится как раз до той ступеньки, которая была научно предуказана Буниным, Лениным, Бухариным и прочими пятью сотнями исследователей законов общественного развития. И становится дурой в порядке "углубления революции", кувыркается все ниже и ниже -- до подвала включительно.

Можно бы, конечно, сказать: если русская масса оказалась "некультурной" и "незрелой", то это прискорбное обстоятельство исследователи законов общественного развития должны были бы учесть еще ДО революции. Можно бы сказать и другое: масса какой была, такой и осталась; всякая масса -- русская, немецкая, цыганская и прочая. Нельзя же себе представить, чтобы десятки и сотни миллионов могли бы менять своих богов, программы, желания, убеждения, навыки и прочее с такой потрясающей маневренной способностью, как это делали исследователи законов общественного развития. В общем, нужно констатировать, что масса надула их всех. Сейчас она собирается надуть даже и коммунистов. Не будем слишком оптимистичны: даже и коммунисты будут перевешаны не все. Останутся какие-то диалектически-материалистические профессора, которые тоже будут жаловаться на незнательность массы, отринувшей сталинский вариант социалистического рая, а уж какой научный был рай!

Сейчас мы присутствуем при поистине "всемирно-историческом зрелище", при полном провале всех теорий, прогнозов, профессоров, философов, исследователей исторических законов и законодателей истории: все пошло ко всем чертям. Масса надула всех: и Милюкова, и Гитлера, и Шпенглера, и Муссолини, и Гегеля, и Маркса. Она возвращается к Забытому Автору, ибо Забытый Автор есть единственная строго научная основа построения человеческого общества. Мы присутствуем при грандиозном провале всех книжных попыток построить живую жизнь. Вместо "научно" сконструированного рая, мы попали если не совсем в ад, то, по крайней мере, на каторгу. Это есть факт. Никакой исследователь законов общественного развития, если он не вооружен вполне уж стопроцентным бесстыдством, не вправе оспаривать этого противопоставления: что нам всем было научно обещано на рассвете европейского социализма и где мы все сидим при его реализации. Что нам всем обещали и куда нас всех привели философы, профессора, гении, вожди и прочие и что мы, масса, вправе думать обо всех них.

Моя книга, как читатель, вероятно, уже заметил, носит не только ненаучный характер, -- она носит антинаучный характер. Или, точнее, я утверждаю, что вся сумма "исследования законов общественного развития" -- не есть наука, это только подделка под науку, это есть торговля заведомо фальсифицированными продуктами. В средние века "философия была служанкой богословия". Теперь она стала потаскухой политики и каждая уважающая себя политическая партия имеет на своем содержании такую философию, какая соответствует ее финансовому состоянию. Но из тротуарного брака Вождя с философией рождается дальнейшее сифилитическое потомство, уроды, одержимые паранойей, в больном воображении которых станут возникать новые законы общественного развития и новые рецепты устройства моей жизни, жизни "массы". Будут вычерчиваться новые прокрустовы ложа, на которых вожди и философы будут то ли растягивать мои суставы, то ли отрубать мои ноги, а я этого, по культурной отсталости моей, -- никак не хочу. И я полагаю, что свежий опыт философской вивисекции, который я -- вкупе с пятьюстами миллионами остальных европейцев -- переживаю на своих собственных позвонках, дает мне право на обобщение, которое еще лет тридцать тому назад могло бы показаться совершенно неприличным. Это обобщение сводится к тому, что "масса", "народ", "толпа" и прочее состоит из разумных и порядочных людей, и что вожди и философы вербуются из сволочи и дурачья. Я утверждаю, что средний француз,

немец или русский, неспособен на такое нагромождение предательства, бесчестности и зверства, на какое оказались способными Робеспьер, Сталин и Гитлер. И что никакой средний француз, немец или русский не станет устраивать своей личной жизни по Дидро, Ницше или Марксу. Что никакой средний француз, немец или русский не станет менять своих убеждений или верований с такой потрясающей легкостью мыслей и совести, с какою это делали французские, немецкие или русские властители дум и творцы систем. Я не имел удовольствия разговаривать с современниками Консьержери, но я по личному опыту знаю, что всякому немцу все-таки стыдно за Бельзен и Дахау, как всякому русскому все-таки стыдно за Соловки и Лубянку. Что при всяком среднем французе, немце и русском -- при всех наших слабостях и недостатках, есть еще человеческая совесть, есть все-таки воспоминания о Забытом Авторе и есть все-таки представление о том, что можно и чего нельзя, что допустимо и что все-таки недопустимо и что есть уже преступление. В философии -- по крайней мере в социальной философии, преступления нет. Есть "историческая неизбежность". В поступках Вождя преступлений тоже нет: есть историческая необходимость. Они философы и вожди -- они стоят над моралью, они "по ту сторону добра и зла". И они, -- философы и вожди, -- автоматически подбирают вокруг себя тех дядей, которые вот только этого и ждали и жаждали, как бы очутиться "по ту сторону добра и зла", по ту сторону всяких религиозных, моральных и даже уголовных запретов. Эти дяди и подбираются. Они жгут, грабят и режут; и перепуганные философы, бегущие куда глаза глядят от своих собственных посевов, объявляют сборище этих подонков "массой", "народом" или даже "нацией".

Сейчас, после опыта целых трех революций, все должно было бы стать очевидным -- по крайней мере для нас, для массы, для плебса, для экспериментальных кроликов, растянутых на прокрустовом ложе философии и вождизма.

Робеспьер вырос из Вольтера, Дидро и Руссо, Франция была залита кровью -- залила кровью почти всю Европу и закончила свою победоносную эпопею в Париже, и сейчас, на наших глазах, из когда-то первой нации в мире -- стала второстепенным государством, с фактически вырождающимся населением, с полным разбродом внутренней жизни страны.

Гитлер вырос из Гегеля, Ницше и Шопенгауэра, залил кровью и Европу, и Германию, привел страну к неслыханному поражению и, покончив жизнь самоубийством, оставил свою "высшую расу" разодранной в клочки оккупационных зон.

Сталин и его наследники выросли из Маркса, Чернышевского и Плеханова -- залили кровью свою страну и кое-какие из соседних, и стоят перед той же альтернативой, перед какой стояли якобинцы Франции и нацисты Германии: или мировая власть, или виселица.

Три величайших человеческих общежития мировой истории -- Рим, Россия и англосаксонское коммонуэллс (включая в него и САСШ) были построены без философии и без вождей: они строились нами, массой -- Иванами, хорошо помнящими свое родство, Джонами-Налогоплательщиками и Агриколами-землепашцами. Средними людьми, чтившими отца своего и мать свою и не пытавшимся усесться по ту сторону добра и зла.

Это есть историческая очевидность. Философы и историки будущего сделают все от них зависящее, чтобы замазать эту очевидность сотнями новых теорий и тысячами новых передержек, чтобы притушить нормальную человеческую совесть, затуманить простой здравый общечеловеческий смысл "массы", чтобы собрать под свои новые знамена новых пассажиров для новых путешествий по ту сторону добра и зла. Пассажиры, вероятно, найдутся. Они с таким же правом будут названы массой, с какою философия именуется наукой. И они будут претендовать на ножи с таким же упорством, с какою философия будет претендовать на рецепты.

Потом появятся новейшие профессора новейшей революционной истории. Позднейшим поколениям они будут говорить о великих духовных прорывах, о героике революционных лет, о великих идеалистах, которым мы, "масса", подрезали их вдохновенные крылья, уселись тяжким, мещанским грузом на их порывы и испортили им всю их революционную, музыку. Говоря короче, будущие профессора истории будут врать так же, как врали прежние. И снова будут соиздаваться легенды о великих людях и эпохах, и о мещанском болоте, в котором погибли и великие эпохи, и великие люди.

Пир богов

В русской поэзии есть строчки, в которых как бы концентрировалось вот это революционно-героическое настроение:

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые
Его призвали Всеблагие,
Как собеседника на пир.

Мысли такого рода в русской поэзии являются исключением: из всех видов духовного творчества России -- поэзия была самым умным, во всяком случае, совершенно неизмеримо умнее русской философии и публицистики. В другом месте я привожу параллельно прогнозы философов, историков и публицистов, и синхронические им предупреждения поэтов. Таблица получается поистине удручающая. Так что строки о пире всеблагих являются исключениями. Однако, именно они декламировались в те предреволюционные годы, когда университетские стада России мечтали о блаженстве роковых годов и готовили это блаженство для себя и для своей страны. В результате их усилий мы, наше поколение, попали на этот пир богов -- на пир голода и расстрелов, тифов и вши, Соловков и Дахау. На столе этого пира появились и обглоданные человеческие кости: в некоторые из "роковых минут" участники пира занимались людоедством. Наш пиршественный слух услаждала музыка артиллерийской канонады, грохота обрушивающихся домов, шипенье того пара, которым Гитлер ошпаривал евреев, и выстрелы тех наганов, которыми Сталин ликвидировал буржуев. Вообще, всеблагие постарались доставить нам удовольствие -- и за наши же деньги. А также и за деньги будущих поколений.

Наполеон, чистокровный корсиканец, так сказать, Аль-Капоне европейской истории, начинает свои политические мечты с проектов истребления всех французов на Корсике -- он по тем временам был итальянским патриотом. Потом он слегка изменил свой патриотизм: вместо истребления французов предлагал в своих якобинских брошюрах истребление только французских "тиранов". Первые свои грабежи он начал в Италии; итальянский патриотизм был так же забыт, как и якобинские брошюры. Его подвиги обошлись Франции в 4,5 миллионов мужчин -- Франция имела тогда всего 25 миллионов населения. Цвет нации гиб не столько на полях сражений, сколько в болезнях походов. Не от этого ли страшного кровопускания идет физическое вырождение этой, может быть, самой талантливой нации мира? "Слава Франции" кончилась парадом союзных войск в Париже, и после этой славы Франция не оправилась никогда: Париж был сдан в 1814, в 1871, в 1940, а в 19-14 только русская жертва на полях Восточной Пруссии спасла LA VILLE LUMIERE от очередного иностранного парада. Сто тридцать третья правительство Третьей республики (сейчас -- уже четвертой), наследницы ста пятидесяти лет революционных шатаний и политической беспризорности. И за все это -- Пантеон? Более великого благодетеля прекрасная Франция так и не могла разыскать?

Об Адольфе Гитлере у меня тогда еще не было достаточной информации, но в голову лезли тревожные мысли об Иосифе Сталине -- одном из очередных распорядителей очередного пира богов: а что, если в Пантеоне Успенского собора в Кремле этак в 2000 году будет стоять такая же гробница, окруженная знаменами Кронштадта, Ярославля, Севастополя, Новороссийска и Соловков -- победы Сталина над матросами, солдатами, офицерами, крестьянами и прочими... Сталинграда тогда еще не было, но ведь и Наполеон начал не с Аустерлица, а с Тулона? И наполеоновские капралы, начав в скромных чинах и скромных масштабах лионские, марсельские и тулонские грабежи, ведь не сразу получили маршальские жезлы и доступ к сокровищницам Рима, Вены и Москвы? Идеи французской революции, пронесенные на наполеоновских знаменах от Мадрида до Москвы? Что осталось от них, кроме литературной декламации и метрической системы мер в Европе? Самый элементарный анализ социальных взаимоотношений в

мире до и после французской революции показывает с полной наглядностью: великая французская революция имела огромное влияние на литературное хозяйство Европы. На все остальные виды человеческой деятельности она не имела никакого влияния. Конституция САСШ была построена на старой английской традиции -- и, как и английская -- держится до сих пор. С крепостным правом в России монархия начала бороться до 1789 года и кончила через 72 года после этой даты. Феодализм во Франции погиб в ночь на 4 августа, феодализм в Европе остался, как и был -- и жил, и умер совершенно независимо от идей 1789 года. В Германии его остатки, кстати, ликвидировал только Гитлер. И если над наполеоновской гробницей "склоняются знамена", то почему им не склоняться над гитлеровской? И почему будущим историкам не восторгаться идеями 1933 года, знамена которых тоже ведь прошли по всей Европе?

Канонизация одного героя мировой истории создает почву, на которой вырастают другие. Хвалебные оды одной революции создают психологические предпосылки для других революций. Романтический грим революционных подвигов действует, как боевая раскраска индейцев, -- школьники мировой истории восторгаются романтикой и забывают о "столбе пыток". А также о гибели племен, культивировавших добродетели томагавка, как и снимавших скальпы со своих "классовых врагов". И нет до сих пор такого учебника истории, который, подведя самые бесспорные итоги "великим переворотам мира", сказал бы всем начинателям новых революций:

"Дорогие мои ситуайены, товарищи, геноссы и камрады! На основании статистических данных о предыдущих революциях, начинатели новой не имеют почти никаких шансов выбраться из нее живьем. И нет никаких шансов не потерять в ней отца, брата, жену или дочь. Нет никаких шансов уйти от голода, грязи, расстрелов и унижений революционного процесса. Правда, если вы попадете в разряд тех двух-трех процентов начинателей, которых не постигла судьба Дантона, Рема, Троцкого и прочих, тогда, при крайней степени Моральной нетребовательности, вы сможете считать себя в выигрыше: к вам по наследству перейдут штаны вашего расстрелянного брата, правда, без революции вы купили бы за это время сто пар штанов. Но вот эти наследственные штаны вы можете одевать в славную годовщину гибели вашего брата: 14 июля, 25 октября или 9 сентября. И хвастаться завоеваниями революции -- штанами, ею для вас завоеванными у вашего брата. Вашей точки зрения, по всей вероятности, никто опровергать не будет, ибо ваш брат давно уже стнил..."

Все это могли бы и должны были бы сказать нам наши учителя: философы и социологи, профессора и публицисты. Могли бы и должны были бы перечислить и завоевания революции: гибель около пяти миллионов населения во Франции, около десятка миллионов в Германии, около полусотни миллионов в России. Могли бы рассказать о женщинах Франции, России и Германии, стоящих в очередях за куском хлеба и с этим куском хлеба в очередях у тюремных дверей, чтобы кое-как накормить отцов, мужей, братьев, сыновей, или узнать, что и они уже "завоеваны революцией" и отправлены на окончательный пир богов, -- на гильотину, плаху или к стенке. Могли бы и должны были бы рассказать не об оперных местах и выдуманных позже афоризмах, а о бесконечных унижениях каждого дня революционного процесса. Могли бы и должны были бы не звать к повторению "пира богов", а честно и серьезно предупредить нас, молодежь: если вы не хотите, чтобы ваши жизни были изувечены и растоптаны революцией, чтобы ваша родина была разорена изнутри и разгромлена извне -- не ходите в революцию, не помогайте ей, не призывайте из уголовного подполья вашей страны зловещих людей, вооруженных длинными ножами и короткой совестью, не ройте братских могил самим себе!"

Что же делать? Ганнибал, вероятно, величайший военный гений мировой истории, погубил Карфаген. Два других гения -- Робеспьер и Наполеон -- разгромили Францию. Третья пара -- Бисмарк и Гитлер -- докончили Германию. Во что еще обойдется России четвертая пара гениев -- Ленин и Сталин?..

Исходя именно из этих соображений, в одной из своих статей я обронил фразу, которая мне впоследствии, в Германии, дорого обошлась: "Гении в политике -- это хуже чумы". Гитлер, говорят, принял это на свой счет, и мне пришлось объяснять в Гестапо, что я имел в виду только гениев марксизма. И вообще -- нельзя же придираться к парадоксу! Но это все-таки не парадокс. Гений в политике -- это человек, насильственно нарушающий органический ход развития страны во имя своих идеалов, своих теорий или своих вожделений -- не идеалов массы -- иначе масса реализовала бы эти идеалы и без гениев,

время для этого у массы есть. Несколько гиперболически можно было бы сказать, что "гений" врывается в жизнь массы, как слон в посудную лавочку. Потом -- слона сажают на цепь, а владелец лавочки подбирает черепки. Если вообще остается что подбирать. Потом приходят средние люди, "масса", и чинят дыры, оставшиеся после слоновьей организации Европы или мира. Как после Робеспьера и Наполеона пришли средние люди Питт и Александр I, так после Гитлера и Сталина придут англосаксонские страны, руководимые "массой", средними людьми, не имеющими никаких новых ни теорий, ни идей, ни даже "философии истории", почтенные "patres familias" -- "мещане", с точки зрения завсегдагая любого кабака, и винного, и политического. И тогда для профессоров истории наступает "эпоха черной реакции" -- никто никого не режет, и писать не о чем.

Зловещие люди

Социалистические теории и утопии свою основную ставку ставят на равенство, универсальное и всеохватывающее равенство, по мере возможности, во всем: в труде и отдыхе, в быте и заработке, даже в красоте, здоровье, силе и любви. Если рассматривать вопрос о равенстве с точки зрения простого, "мещанского" здравого смысла, то можно будет, как мне кажется, установить тот довольно очевидный факт, что к равенству стремятся и будут стремиться люди, которые стоят ниже некоего среднего уровня данной страны и данной эпохи. Те, кто занимает места на среднем уровне, тоже будут к чему-то стремиться -- но уже не к равенству, а к превосходству.

Неравенство людей мы должны признать, как совершенно очевидный биологический факт: Гете и Ньютон все-таки никак не равны туземцу Огненной Земли -- неравны всей суммой своих наследственных задатков. Жизнь строится не на стремлении к равенству, жизнь строится на стремлении к превосходству. Если вы установите закон, согласно которому все футбольные команды мира должны играть одинаково и все дискоболы мира должны кидать диск только на 35 метров -- то спорт прекратит бытие свое. Равенство в заработной плате ("уравниловка"), которую большевики одно время ввели в промышленности, подействовала на эту промышленность, как тормоз на все четыре колеса: потом пришлось бросить уравниловку и расстреливать идеалистов равенства. Как и во всех областях жизни, социализм, с истинно потрясающей быстротой, превращается -- почти по Гегелю -- в свою противоположность. На базе теоретического равенства сейчас создано такое положение, когда один Гениальный Вождь Народов, окруженный дружиной уже раскрытой и еще не раскрытой сволочи (Троцкий, Бухарин, Молотов и проч.) бесконтрольно властвует над почти двухсотмиллионным стадом (трудящиеся). Но все это делается, конечно, во имя свободы, равенства и даже братства -- по Каину и Авелю.

Равенства нет и быть не может: оно означало бы полную остановку жизни. Но если мы признаем наличие неравенства со знаком плюс, то мы обязаны признать и наличие неравенства со знаком минус. Если есть люди, стоящие выше среднего уровня, то есть и люди, стоящие ниже -- есть какой-то слой умственных и моральных подонков. Большинство человечества находится где-то посередине между Геркулесом и кретином. Это большинство не строит ни науки, ни искусства, почему "гении" склонны обзывать его стадом. Но это большинство строит человеческое общежитие во всех формах, начиная с семьи и кончая государством. Формы этого общежития никогда не соответствовали и никогда не будут соответствовать всем желаниям этого большинства, но они соответствовали и будут соответствовать его силам. Эти формы выковываются сотнями миллионов людей на протяжении сотен лет. Чудовищная сложность человеческих взаимоотношений, характеров, стремлений, борьбы за хлеб и борьбы за самку, борьбы за власть и за значительность ("Гельтунгстриб") -- все это в течение веков проверяется ежедневной и ежечасной практикой и отливается в более или менее законченный быт.

Все это строится грубо эмпирически. И все это не устраивает и "гениев

политики", ибо это не соответствует их идеалам и теориям, все это не устраивает и подонков, ибо все это не соответствует их силам и вождениям. Именно поэтому между гениями политики и подонками биологии устанавливается некая *entente cordiale* -- гении ничего не могут ниспровергнуть без помощи подонков, подонки не могут объединиться для ниспровержения без помощи гениев. Гении поставляют теории, подонки хватаются за ножи. В подавляющем большинстве случаев, -- может быть, и во всех случаях, -- гении политики, философии и прочего не имеют никакого представления о реальной жизни; им подобает жить в состоянии гордого "*splendid isolation*": ты царь -- живи один. И в одиночестве разрабатывать теории, предлагаемые впоследствии: теоретически -- "массе", практически -- подонкам. Максимальный тираж имеют теории, предлагающие ниспровержение максимального количества запретов и в минимально короткий срок.

Из опыта трех великих революций европейского континента можно установить тот факт, что революция развивается параллельно с проституцией. Франция перед 1789 годом переживала так называемый "галантный век". Россия и Германия наводнялась порнографией. Порнографическая и социалистическая литература подавляла все остальные виды печатного слова. В той и в другой были, разумеется, и свои "оттенки". Наиболее приличная часть литературы, трактовавшая "проблемы пола", воевала за "свободу любви" -- об этом писали и Ибсен, и Бабель, и многие другие. Та "мещанская мораль", которая запрещает незамужней девушке иметь ребенка -- объявлялась варварской, поповской, капиталистической и вообще реакционной. Философия, литература и публицистика взяли под свою защиту "девушку-мать". По этому поводу было сказано много очень трогательных слов.

За "революцией пола" пошли половые подонки, иначе, конечно, и быть не могло. Так кто же пошел за революцией вообще? Какие "массы" "делали революцию" и в какой именно степени "народ" несет ответственность за Консьержери, Соловки и Дахау?

Я до сих пор -- почти тридцать лет спустя, с поразительной степенью точности помню первые революционные дни в Петербурге -- нынешнем Ленинграде. Эти дни определили судьбы последующих тридцати лет, так что, может быть, не очень мудро помнить их и по сию пору. Причины Февральской революции в России очень многообразны -- о них я буду говорить позже. Но последней каплей, переполнившей чашу этих причин, были хлебные очереди. Они были только в Петербурге -- во всей остальной России не было и их. Петербург, столица и крупнейший промышленный центр страны, был войной поставлен в исключительно тяжелые условия снабжения. Работницы фабричных пригородов "бунтовали" в хлебных хвостах -- с тех пор они стоят в этих хвостах почти тридцать лет. Были разбиты кое-какие булочные и были посланы кое-какие полицейские. В городе, переполненном проституцией и революцией, электрической искрой пробежала телефонная молва: на Петербургской стороне началась революция. На улицы хлынула толпа. Хлынул также и я.

На том же Невском проспекте, только за четыре года до "всемирно-исторических" февральских дней, медленно, страшно медленно двигалась еще более густая толпа: в 1913 г. Санкт-Петербург праздновал трехсотлетие Дома Романовых, толпа вела под уздцы коляску с Царской Семьей, коляска с трудом продвигалась вперед. Сейчас, в 1917 году -- тот же Невский, такая же толпа, только она уже не ликует по поводу трехсотлетия Дома Романовых, а свергает, или собирается свергнуть монархию, которая при всех ее слабостях и ошибках просуществовала все-таки больше тысячи лет. Подозревали ли толпа 1917 года все то, что ее ждало на протяжении ближайших тридцати лет?

Можно сказать несколько слов о непостоянстве массы, толпы, плебса. Но можно сказать и иначе: в двухмиллионном городе можно наблюдать десять разных пятидесятитысячных толп, составленных из разных людей и стремящихся к совершенно разным деяниям. Можно собрать толпы на открытие общества и можно собрать толпу на разграбление винокуренного завода. В обоих случаях толпа не будет состоять из одних и тех же людей.

На Невском проспекте столпилось тысяч пятьдесят людей, радовавшихся рождению революции, конечно, великой и уж наверняка бескровной. Какая тут кровь, когда все ликуют, когда все охвачены почти истерической радостью: более ста лет раскачивали и раскачивали тысячелетнее здание, и вот, наконец, оно рушится. Можно предположить, что все те, кто в восторге не был -- на

Невский просто не пошли. Точно так же, как четыре года назад не пошли те, кто не собирался радоваться по поводу трехсотлетия Династии.

Бескровное ликование длилось несколько часов, потом где-то, кто-то стал стрелять -- толпа стала таять. Я, по репортерской своей профессии, продолжал блуждать по улицам. Толпа все таяла и таяла, остатки ее все больше и больше концентрировались у витрин оружейных магазинов. Какие-то решительные люди бьют стекла в витринах и "толпа грабит оружейные магазины".

Мало-мальски внимательный наблюдатель сразу отмечает "классовое расслоение" толпы. Полдюжины каких-то зловещих людей -- в солдатских шинелях, но без погон, вламываются в магазины. Неопределенное количество вездесущих и всюду проникающих мальчишек растаскивает охотничье оружие -- зловещим людям оно не нужно. Наиболее полный революционный восторг переживали, конечно, мальчишки: нет ни мамы, ни папы и можно пострелять. Наследники могикан и сиуксов были главными поставщиками "первых жертв революции": они палили куда попало, лишь бы только палить. Они же были и первыми жертвами. Зловещие люди, услышав стрельбу, подымали ответный огонь, думаю, в частности, от того же мальчишеского желания попробовать вновь приобретенное оружие. Зеваки, составлявшие, вероятно, под 90 процентов "толпы", стали уже не расходиться, а разбегаться. К вечеру улицы были в полном распоряжении зловещих людей. Петербургские трущобы, пославшие на Невский проспект свою "красу и гордость", постепенно завоевывали столицу. Но они еще ничем не были спаяны: ни идеей, ни организацией; над этим, с судорожной поспешностью и на немецкие деньги, в подполье работали товарищи товарища Ленина, -- сам он был еще в Швейцарии.

Шла беспорядочная стрельба -- и наследники могикан и сиуксов палили по воронам, фонарям, и, в особенности, по ледяным сосулькам, свешивающимся с крыш. Зловещие люди, грабившие магазины, стреляли в чисто превентивном порядке: чтобы никто не лез и не мешал. Так что попадали и друг в друга... Заезавшиеся прохожие, любопытные, выглядывавшие из своих окон мальчишки, "павшие жертвой в борьбе роковой" с незнакомым оружием, и зловещие люди, не поделившие награбленного -- все это было потом, с великой помпой, похоронено на Марсовом Поле. По такой же схеме рождались жертвы и герои национал-социалистической революции, и Хорст Вессель, убитый по пьяному делу в кабаке, был возведен в чин мученика идеи: у него оказалось идейно выдержанная внешность.

Не претендуя ни на какую статистическую точность, я бы сказал, что перед моментом перелома от ликования к грабежам, толпа процентов на девяносто состояла из зевак -- вот, вроде меня. Они были влекомы тем чувством, из-за которого наши далекие предки были изгнаны из рая. Я предполагаю, что из девяноста сыновей Евы -- дочерей было очень мало -- человек с десяток имели при себе оружие. И у них была теоретическая возможность перестрелять зловещих людей, как куропаток. Но каждый из нас предполагал, что он -- в единственном числе, что зловещие люди являются каким-то организованным отрядом революции и, наконец, что где-то наверху есть умные люди -- полиция, генералы, правительство, Государственная Дума и прочие, которые уж позаботятся о распределении зловещих людей по местам их законного жительство -- по тюрьмам. Кроме того -- и это, может быть, самое важное -- как только началась стрельба, то все *patres familias* сообразили, что на Невском-то грабят магазины, а на других улицах, может быть, уже грабят его собственную квартиру. Сообразил это и я.

Мы с семьей -- моя жена, сынишка, размером в полтора года, и я -- жили в крохотной квартирке, на седьмом этаже отвратительного, типично петербургского "доходного дома". Окна выходили в каменный двор-колодезь, и в них даже редко проникали солнечные лучи. В эту квартирку я вернулся вовремя: какая-то, уже видимо "организованная", банда вломилась с обыском: отсюда, де, кто-то в кого-то стрелял. Стрелять было не в кого, разве только в соседние окна, наши окна выходили во двор. На ломаном русском языке банда требует предъявления оружия и документов. У меня в кармане был револьвер -- я его, конечно, не предъявил. Я мог ухлопать человека два-три из этой банды, но что было бы дальше? Остатки банды подняли бы крик о какой-то полицейской засаде, собрали бы своих сотоварищей, и мы трое были бы перебиты без никаких. Я предъявил свой студенческий билет -- он был принят как свидетельство о политической благонадежности. Банда открыла два ящика в комод, осмотрела почему-то кухонный стол и поняв, что отсюда ничего путного

произойти не может, что грабить здесь нечего, отправилась в поиски более значных мест. На улице загрохотал и умолк пулемет. Раздался глухой взрыв. Потом оказалось: другая банда открыла жилище городского. На другой день трупы городского, его жены и двух детей мы, соседи, отвезли в морг.

Вот так, в моменты общей растерянности, -- правительственной в первую очередь -- были пропущены первые, еще робкие языки пламени всероссийского пожара. Их можно было потушить ведром воды -- потом не хватило океанов крови. К концу первого дня революции зловещих людей можно было бы просто разогнать. На другой день пришлось бы применить огнестрельное оружие -- в скромных масштабах. Но на третий день зловещие люди уже разъезжали в бронированных автомобилях и ходили сплоченными партиями, обвешанные с головы до пят пулеметными лентами. Момент был пропущен -- пожар охватывал весь город.

Практическое поучение, которое можно было бы вывести из опыта первых революционных дней, сводилось к тому, что в эти дни все порядочные люди страны должны были бы бросить все дела и все заботы и заняться истреблением зловещих людей всеми технически доступными им способами: револьверами, стрихнином, крысиным ядом -- чем хотите. Риск, с этим связанный, не имеет никакого значения, ибо, если вы пропустите момент первого риска, вы никак не уйдете от долгого ряда лет, где риск будет неизмеримо больше. Но я думаю, что этот рецепт утопичен. Если бы в 1917 году мы знали и если бы в 1918 мы могли! Но в 1917 году мы и понятия не имели, чем все это пахнет, а в 1918 году было уже поздно. И, кроме того, мы, средние люди всех стран и народов, веками и веками "грубого" эмпиризма выработали на потребу нашу такую государственную организацию, которая была приноровлена к нашим -- средних людей, -- интересам, привычкам и прочему. Мы привыкли жить так, чтобы не ходить по улицам с ножом в руках для перманентной самообороны от уголовного элемента -- на это имеется полиция. И когда полиция рушится -- мы автоматически оказываемся неорганизованными и беспомощными. И на месте полиции так же автоматически возникает уголовный элемент, который годами и годами самоорганизовывался в борьбе против полиции и против нас.

Изгоните из любого города полицию и он автоматически попадет под власть уголовного элемента. Одна из самых кровавых банд гражданской войны -- "армия" Нестора Махно, имела вполне официальную идеологию -- анархическую. Она занимала города и вырезывала евреев. И ее идейным штабом заведовал анархист Волин -- еврей... Неисповедимы пути твои, философия...

Мой призыв к револьверу, стрихнину и крысиному яду может показаться варварским, бесчеловечным или, по крайней мере, реакционным.

Само собой разумеется, что виселицы в таких случаях были бы приемлемее, но что делать, если их нет, и если люди, которым мы, среднее человечество, поручили заботу о виселицах, исчезли с исторической сцены. Тогда нужно прибегать к любым способам истребления, ибо они будут все-таки дешевле, чем все то, что принесет с собою революция. В нашем русском случае революция обошлась по меньшей мере в пятьдесят миллионов человеческих жизней. Сейчас человечество, только что открывшее ужасы Бельзена и Дахау, под свежим впечатлением, а также по понятной политико-человеческой слабости, склонно совсем забыть об ужасах Соловков, о тех пытках, которым подвергались миллионы людей, о том голоде, от которого погибли миллионы детей, о всем том, что за эти тридцать лет пережили двести миллионов. Что человечнее: два килограмма стрихнина для начинателей национал-социалистической революции в 1933 году или миллионы тонн фосфора и тринитролуола в 1939 -- 1945 годах? Великие демократии мира сего, устроенные средними людьми для их, средних людей, потребностей, проворонили виселицы 1917 и 1933 годов -- как их проворонили и мы, средние люди России и Германии. Если бы уэлльсовская "Машина времени" перенесла меня назад в 1917 год, я применил бы все, рискуя всем. Если бы эта "Машина времени" показала мне все то, что мне пришлось пережить от 1917 до 1946 года, я, человек в общем весьма жизнерадостный и оптимистический, предпочел бы пойти на любой риск, даже и на самоубийственный риск, ибо все то, что я пережил в течение следующих тридцати лет, было сплошным риском, сплошным унижением, сплошным страхом: процесс жизни стал мучительным процессом, смягченным только надеждой на то, что не может все это, наконец, не кончиться! Из каждых 3-4 людей, присутствовавших при рождении великой и бескровной, погиб один -- я остался в числе уцелевших счастливцев. Но мой брат погиб на фронте Гражданской

войны, мать моей жены умерла в тюрьме чрезвычайки, моя жена разорвана советской бомбой, мой отец сослан куда-то на гибель. И это есть средняя цена революции для среднего человека страны. Любой риск в 1917 году обошелся бы дешевле.

Но мы проворонили. На второй день революции город был во власти революционного подполья. Какие-то жуткие рожи -- низколобые, озлобленные, питекантропские, вынырнули откуда-то из тюрьм, ночлежек, притонов -- воры, дезертиры, просто хулиганье. И по всему городу шла "стихийная" охота за городовыми.

Почему именно за городовыми? Тогда я этого никак не мог понять. Можно было себе представить, что победившая революция постарается истребить своего наследственного врага -- политическую полицию, "охранку" царского режима. Но городовые никакой политикой не занимались. Они регулировали уличное движение, подбирали с мостовых пьяных пролетариев, иногда ловили трамвайных воришек и вообще занимались всякими такими аполитичными делами, совершенно так же, как лондонские или нью-йоркские Бобби. За что же их-то истреблять?

Но зловещие люди гонялись за ними, как за зайцами на облаве. Возникали слухи о полицейских засадах, о пулеметах на крышах, о правительственных шпионах, и Бог знает, о чем еще. Мой знакомый, любитель фотографии, был пристрелен у своего окна: он рассматривал на свет только что отфиксированную пластинку -- его приняли за шпиона. При мне банда зловещих людей около часу обстреливала из пулемета пустую колокольню: какой-то старушке там померещился поп с "пушкой" -- о том, как именно поп смог бы втащить трехдюймовое орудие на колокольню и что бы он стал из этого орудия обстреливать, зловещие люди отчета себе не отдавали. Они еще находились в состоянии истерической спешки: шли и другие слухи -- о том, что к Петербургу двигаются с фронта правительственные войска, и что, следовательно, дело может кончиться виселицами; о том, что какие-то юнкера заняли какие-то подходы к столице -- вообще дело еще не совсем кончено. Нужно торопиться. Зловещие люди явно торопились: *Carpe diem*. Наиболее сознательные из них подожгли здание уголовного суда.

Тогда я тоже не мог понять: при чем тут уголовный суд? Огромное здание пылало из всех своих окон, ветер разносил по улицам клочки обожженной бумаги. Я нагнулся, поднял какую-то папку, и сейчас же около меня возникла увешанная пулеметными лентами зловещая личность: "тебе чего здесь, давай сюда!" Я послушно отдал папку и отошел на приличную дистанцию. Зловещие люди тщательно подбирали все бумажки и также тщательно бросали их обратно в огонь.

Смысл этого "ауто да фе" я понял только впоследствии: тут, в здании уголовного суда, горели справки о судимости, горело прошлое зловещих людей. И из пепла этого прошлого возникло какое-то будущее. Но -- какое? если об этом не догадывался даже профессор Милюков, то как о нем могли дать себе отчет люди, только что вынырнувшие из уголовного подполья? Так, в 1789 году такие же зловещие люди жгли парижский уголовный суд. А в 1944 -- какие-то люди из бельгийского "движения сопротивления" подожгли брюссельский Дворец Правосудия. В Гамбурге в 1933 -- гамбургский суд; в Берлине -- берлинский. Что общего имеет дело освобождения Родины от немецких оккупантов с бельгийскими справками о судимости?

Прошлое было сожжено. Что оставалось для будущего? Если с фронта придут апокрифические правительственные дивизии -- будущее станет совершенно ясным: виселица или снова тюрьма. Но если не придут? Если проклятый царский режим будет свергнут окончательно и бесповоротно и на месте его возникнет истинно демократическая республика? Что тогда станут делать зловещие люди? Сдадут свои пулеметные ленты в какую-то новую полицию? И возьмутся за тот "свободный и мирный труд", которым они в жизни своей никогда не занимались? А если бы и случилось заниматься, то разве им, творцам новой, невыразимо прекрасной жизни и завоевателям нового, невыразимо прекрасного общественного строя, снова опускаться на какое-то дно жизни, становиться за станок -- это в дни всеобщего, революционного праздника, в дни воскресения зловещих людей из праха справок о судимости? Вдумайтесь в их положение и вы сами увидите, что кроме "углубления революции", "перманентной революции", как это сформулировал Троцкий, им не оставалось ничего. И они, вооруженная масса городских подонков, не могли не пойти за Троцким и Лениным -- ибо все остальное грозило бы им, по меньшей мере, возвращением в первобытное

состояние, возвратом на общественное дно. Они, эти люди, рыскали потом с митинга на митинг, поддерживая своими глотками и своими винтовками тех вождей, которые обещали наивысшую плату в самый короткий срок. Которые предлагали наиболее полную гарантию от репатриации зловещих людей в ночлежки, тюрьмы и притоны. Наивысшую цену и в кратчайший срок предложил Ленин. Если бы он поцеремонился и усостыдил, нашлись бы другие -- менее церемонные и менее совестливые.

Так, на моих глазах шел великий аукцион революции: кто дает больше и -- еще -- кто даст скорее. В этом истинно социалистическом соревновании автоматически было сметено все, в чем была совесть. Потом, впоследствии, научные обозреватели социальной революции будут все это взваливать на плечи многострадального пролетариата. Обозреватели революционные, -- чтобы сказать: "с революцией был весь пролетариат". Реакционные, -- чтобы сказать: "вот он, ваш пролетариат". Опытом всех семнадцати лет революций могу засвидетельствовать категорически: пролетариат был тут совершенно не при чем.

Но вот: справки сожжены, бриллианты ограблены, городские перебиты. На тысячах митингов прощупывается связь между "массой" и "вождями". "Массы" жаждут гарантии от тюрьмы и виселицы. Но той же гарантии жаждут и вожди. Массы требуют наибольшей платы и вожди требуют наибольшей "бдительности". В самом деле: что станет с вождями, если масса дифференцируется, разбредется, или просто займется пропиванием награбленной движимости? С чем тогда останутся вожди? И вот, от зловещих вождей зловещей банды идет исторически повторяющийся и логически неизбежный "караул": "революция в опасности". "Завоевания революции в опасности". Идет полиция и несет с собою виселицы. *Caveant pitecantropes*. "Революционный держите шаг -- неугомонный не дремлет враг". Враг мерещится из-за каждого угла, и за каждым углом он действительно сидит. Но враг мерещится и там, где его и в помине нет. Начинается охота: за "подозрительными" французской революции, "контрреволюционерами" -- русской, "предателями народа" -- германской. Воздвигаются гильотины, виселицы и плахи; начинается террор. И -- от первого дня революции до самого ее последнего дня, до самого последнего дня -- идет смертельная, звериная борьба между пролетариатом и революцией. Самым страшным врагом революции является именно пролетариат -- ибо он, а не "буржуазия", умирает с голоду.

Итак: революция совершена. Старый режим свергнут. Сейфы ограблены. Хлебных очередей больше нет, ибо нет хлеба. Зловещие люди, успокоившись от своих страхов по поводу "фронтвиков", идущих наводить порядок, хлынули в игорные дома. Игорные дома в Петербурге в 1917 году росли так же, как и в Париже в 1789. Краса и гордость революции швырялась кредитками и золотом, золото и кредитки уходили так же быстро, как и пришли: зловещие люди не отличаются предусмотрительностью. Рабочий Петербург, как и рабочий Париж, начинали голодать совсем всерьез: это рабочие, а не буржуазные жены стояли по ночам в парижских и петербургских очередях, это пролетарские, а не буржуазские дети попадали в беспризорники. У "буржуазии" что-то оставалось и "буржуазия" всегда имела свои пути за границу. Голодал, мерз и гиб -- именно пролетариат.

Итак: городской истреблен, буржуй ограблен, хлеба нет, пролетариат глухо волнуется, а зловещие люди, дураки, расходятся по своим собственным делам: по притонам, кабакам, игорным домам. С чем же остаются вожди? На что опереться вождям? Нужен вопль о новом "взрыве энтузиазма". "Революция в опасности! Революция в опасности!" Король пытается покинуть Париж. Корнилов пытается захватить Петербург. Гидра контрреволюции свила себе гнездо в Кобленце. Гидра контрреволюции свила себе гнездо на Дону. Тираны лондонской биржи готовят петлю для завоевателей революции! Капиталисты лондонской биржи готовят петлю для революции. Товарищи питекантропы! Над вашими головами качается петля! Революционный держите шаг! Бросайте ваши притоны -- дело идет о петле и о жизни! *Aux armes, citoyens!* К оружию, товарищи!

Товарищи бросают карты и берутся за винтовки -- дело действительно идет о петле или о жизни, на это соображение хватает мозгов даже и у них... Вот так оно и идет: от самого первого дня революции до самого последнего. Иначе не бывает, иначе быть не может...

...Ровно двадцать лет спустя после нашей революции, в 1937 году я попал в Париж, во время парижской всемирной выставки. Я не был на положении

туриста. Мне приходилось вести поистине чудовищную работу и не было никакого времени следить за французским общественным мнением, и не было даже времени посетить выставку. Были основания опасаться коммунистического покушения, и мои друзья держали меня в положении, так сказать, "усиленной охраны". Я видел очень мало. Но то, что я видел, было жутко.

На улицах Парижа появились те же зловещие люди, как и на улицах Петербурга 1917 года. Я был в Париже летом 1914 года -- и тогда таких людей я не видел. А, может быть, не замечал? Те же сжатые кулаки и стиснутые зубы, те же сдавленные черепа и куриные грудные клетки. То же "а ба". Было ясно: французские недоноски собираются следовать примеру русских недоносков. Такая же грязь на улицах Парижа, какая была и на улицах Петербурга -- только у нас, по условиям русской флоры, валялась подсолнечная шелуха, здесь валялись апельсиновые корки. Гарсон в кафе вышиб меня вон, потому что я вместо saucisse заказал saucisson, и смотрел на меня как на кровопийцу, хотя его крови я никак пить не собирался. Из всех павильонов французской выставки -- французский павильон так и не был достроен до самого конца выставки: рабочие бастовали. Были времена "народного фронта" и "пролетариат" шатался по митингам. А с востока, высовывая свою разведывательную и разнюхивательную голову из-за Рейна, братская социалистическая рабочая германская партия уже позванивала и танками, и кандалами.

Воздух Парижа пах Керенским. И Лениным -- тоже. Только, в отличие от русского примера, соответствующий Ленин пришел из Германии.

Сейчас принято ругать Гитлера -- не хочу хвалить его и я. Но все-таки думаю, что победа Гитлера обошлась Франции дешевле, чем обошлась бы победа Торреза. Впрочем, есть шансы и на обе победы: после гитлеровской еще и торрезовской. Но какое дело до всего этого питекантропу? Уже по одной емкости своей черепной коробки он не в состоянии вместить в себя никаких мыслей о последствиях, маячащих дальше его собственной эпидермы. Если бы это было иначе, -- подонком не был бы подонком, он был бы нормальным членом нормального общества, он не опустился бы "на дно" буржуазного общества и не полез бы на "вершину волны" революционного. Современная криминология давно уже сняла романтическую тогу с обычного преступления. Но современная историография еще не сделала того же по отношению к социальным преступлениям. Однако, грабеж и убийство не перестают быть грабежом и убийством только потому, что число их увеличивается в сто тысяч или в миллион раз. Но если бы историография стала бы на точку зрения криминологии и грязную уголовную хронику великих революций так и подала бы публике -- как грязную уголовную хронику, а не как романтические, хотя и кровавые взлеты в надмирные высоты -- то что тогда стало бы с кафедрами, тиражами и гонорарами?

Я очень хорошо понимаю, моя характеристика деятелей революции наводит читателей на унылые мысли о моей революционности, пристрастности, односторонности и прочих таких нехороших вещах. Да и сам я, переживая десятки лет вот эти впечатления, много-много раз пытался установить: в какой именно степени я сам являюсь жертвой оптического обмана. Да, я "обижен" революцией. Да, я с юных лет моих "отбросил революцию", как и революция отбросила меня.

Естественно возникло некое "общество взаимной ненависти" -- моей к революционерам и революционером ко мне. Но, вот, я все-таки и до сих пор как-то жив. Сотни тысяч, а может быть и миллионы людей, "принявших революцию", давно отправлены ею на тот свет -- вот вроде Троцких, Бухариных и прочих. Дантон по дороге на эшафот орал благим матом: "в революции всегда побеждают негодяи!" Надо предполагать, что Дантон знал кое-какой толк в революции -- хотя надо также предполагать, что он перед этим ничего не говорил о негодяях, отправляя на эшафот других людей. Робеспьер, пытаясь накануне 9-го термидора получить свое слово в Конвенте, орал: "председатель убийц, я требую слова!" -- дня за два он, вероятно, не назвал бы Конвент сборищем убийц. Но, вероятно, Робеспьер тоже кое-что понимал в механике революции. Фуше русской революции, председатель ВЧК-НКВД, Ягода, был расстрелян потихоньку -- без жестов и речей -- и мы так и не узнали его последнего слова об убийцах и негодяях -- большая потеря для будущих профессоров истории русской революции. Но, во всяком случае, моя характеристика революции более или менее совпадает с характеристиками Дантона и Робеспьера, Троцкого и, вероятно, Ягоды. С той только разницей,

что для Дантона "негодяи" начинались как раз после него самого. Для Робеспьера также начинались "убийцы", для Троцкого -- "узурпаторы и убийцы", для Ягоды -- уж не знаю кто. Чекисты, что ли? Я же считаю негодьями, убийцами, насильниками и вообще сволочью их всех: и до их казни и после их казни. Ягода -- до своей гибели -- убил миллионы людей и Троцкий организовал убийство этих миллионов, -- Ягода был только "фактическим исполнителем". Все они -- все, -- строили организацию человекоубийства и восторгались этой организацией, пока она не потащила на эшафот их самих. И только тогда, на пороге этого эшафота, когда все равно -- все уже пропало, -- они выкрикивают свою предсмертную правду о негодьях и убийцах.

Еще о пролетариях всех стран

Революционеры антикварных времен любили декламировать слово "народ". Это он, "народ", "восстал против тиранов", казнил королей и мистическим образом избирал Робеспьеров. Потом, с ростом науки и техники, вместо народа стали фигурировать "трудящиеся". Затем, с дальнейшим прогрессом науки, техники и философии, из сонма трудящихся выпали такие тунеядцы, как крестьяне, фермеры и вообще все, в поте лица своего добывающие для нас хлеб наш насущный. Остались одни "пролетарии". В дальнейшем ходе историко-философских концепций стал дифференцироваться и пролетариат: пролетариат просто и пролетариат революционный. "Сознательный пролетариат", как его называли в России ДО 1917 года. "Лумпенпролетариат", как его квалифицировали правые круги в Германии. Биологические подонки больших городов, как его квалифицирую я.

В той схеме, которую нам вдалбливали в то время в университетах Европы -- на смену "буржуазной революции" с неизбежностью геологического процесса должна была придти пролетарская: четвертое сословие должно смести третье. Вся сумма гуманитарных наук последнего столетия, в сущности, только то и делала, что готовила пролетарское продолжение буржуазной революции. Подготовка была проделана настолько основательно и научно, что даже и сейчас м-р Бэвин и тов. Молотов никак не могут договориться: так кто же из них является настоящим пролетарием? Точно так же, как геноссе Гитлер и товарищ Сталин никак не могли договориться: так кто же из них является настоящим социалистом? Окончательное определение будет, по всей вероятности, принадлежать владельцам наиболее дальнобойных орудий. И за все это будет платить своей кровью и своим потом именно пролетариат.

Современный рабочий класс Европы играет прискорбную роль того ребенка, у которого, по русской пословице -- семь нянек и который поэтому остается без глаза. С пролетариатом нянчатся все. Все его опекают, все его воспитывают, все ему льстят и все ему врут. И от всего этого он остается без хлеба, без крова и без штанов. И на его шею садятся французские бесштанники, немецкие фашисты или русские коммунисты. Няньки исчезают -- они заменяются держимордами. Трудящийся класс перестает быть теоретическим мессией -- он становится бандой прогульщиков, лодырей, саботажников и вредителей, которой нужны: "ярмо, погонщик и бич" -- появляется и то, и другое, и третье. В стране самого последовательного социализма -- в СССР -- рабочий за двадцатиминутное опоздание к станку подвергается тюремному заключению, и не по приговору суда, а по постановлению партийной полиции. Русский пролетариат, в результате своих всемирно-исторических побед, опустился до положения раба на ямайских плантациях середины прошлого века. Его, правда, не бьют плетью -- это было бы несовременно. Но ямайские плантаторы не расстреливали своих рабов: это было бы слишком дорого, раб стоил денег, -- пролетарий не стоит ни копейки. Над ним нет владельца, как над ямайским рабом, над ним нет босса, как над американским рабочим, но над ним возвышается платный, строго централизованный бюрократический погонщик Якобинской, фашистской или коммунистической партии. Этот погонщик спуска не даст -- хотя бы по одному тому, что и ему партия спуска не даст. Ибо он, погонщик, является только бессловесным бичом в руках Вождя.

Если термины "народ", "масса", "пролетариат" и прочее принять мало-мальски всерьез, тогда никак нельзя будет объяснить унылую закономерность всех трех великих революций: во всех трех странах история повторилась с поистине потрясающей степенью точности: над "народом" устанавливает свою диктатуру "класс", над классом -- партия и над партией -- вождь. Народ отдает "всю власть" классу, потом партии, потом вождю. Народ, потом класс, потом партия каким-то таинственным образом отказываются от всех не только демократических, а просто человеческих прав, чтобы превратиться в бессловесное и голодное стадо. В каждом из этих трех случаев можно подыскать отдельные объяснения для всемогущества Робеспьера, Сталина и Гитлера. И точно также в каждом из этих трех случаев можно подыскать отдельные объяснения для тех войн, которые возникают из этих диктатур. Но после примеров трех великих революций -- не считая не очень уж великую итальянскую революцию -- никакие отдельные объяснения не могут удовлетворить никакого разумного человека. Мы имеем дело с закономерностью. Эту закономерность можно припрятать в мистику таких объяснений, как "стихия революции", -- это очень любили делать все революционно писавшие русские люди. Можно также ограничиться ссылкой на полную бессмысленность всего исторического процесса, -- это очень любили делать революционно писавшие русские люди, сбегавшие от революции. Заготовщики материалистических революций очень любят прятаться за юбку мистики, -- в тех случаях, когда им вообще удастся спрятаться куда бы то ни было. Материалистическая философия принимает в этих случаях, я бы сказал, удручающе богословский характер: вот галдели люди всю жизнь о точном научном познании общественных явлений, боролись всю свою жизнь против всяческой "поповщины", тайны, непознаваемого, и прочей мистики, -- а когда зажженный ими же пожар опалил их собственные бороды -- начинают выражаться столь мистически, как не выражались и средневековые богословы. И врать так, как не врал даже и барон Мюнхгаузен.

Предоставим мистику стихии таким людям, как покойник Лев Троцкий -- он всю свою жизнь тщательно подбирая все легко воспламеняющиеся щепки, поливал их бензином и чиркал надо всем этим своей марксистской спичкой. Был очень доволен стихией революционного пламени, пока ему удавалось погреть у него свои руки -- и проклинал эту стихию, когда она обожгла ему нос. Таких троцких есть десятки, может быть, и сотни тысяч. Они восторгаются стихией, пока она греет их руки и карманы, и предают ее всяческой анафеме, когда она начинает греть чужие руки. Народ -- трудящиеся, пролетариат, партия и даже чрезвычайка -- воплощают в себе всю мудрость истории, пока они греют: Мирабо и Миллюкова, Ролана и Керенского, Дантона и Троцкого. Они становятся исчадием ада для Миллюкова, когда его вышибает Керенский, для Керенского -- когда его вышибает Троцкий, для Троцкого -- когда его вышибает Сталин. По этому же погребальному пути проходит и пролетариат: он велик и, мудр, пока на его спине едет Троцкий. Он становится стадом, когда на его шею садится Сталин. Он исполнен классовой сознательности, пока он гарцует под моим седлом. Он становится плебсом, когда меня с этого седла вышибли.

В революционной литературе нужно различать манифесты и мемуары. Манифесты пишут люди, лезущие на пролетарскую шею. Мемуары пишут люди, сброшенные с этой шеи. В манифестах пролетариат фигурирует в качестве мессии, в мемуарах он фигурирует в качестве сволочи. И это называется научным познанием общественных явлений.

Совершенно очевидно, что в те трагические моменты истории, когда Керенский вышиб Миллюкова, Робеспьер -- Дантона или Сталин -- Троцкого, очень много изменилось в психологии Миллюкова, Дантона и Троцкого, но что народ, масса, пролетариат и прочее -- чем он был до Миллюкова, Дантона или Троцкого -- тем он и остался после всех их. Что двадцать миллионов французов или двести миллионов русских не были мессиями до 9 термидора или 25 октября и не стали сволочью после этих всемирно-исторических дат. Что культурный и умственный уровень десятков и сотен миллионов людей не меняется и не может меняться в зависимости от того, кто из очередных первых любовников революции отправлен в отставку или на эшафот. Карабкаясь к вершинам власти -- эти люди пишут манифесты. Летя кувырком с этих вершин -- они пишут мемуары.

Со времени "Коммунистического манифеста", изданного сто лет тому назад великим книжником, фарисеем и философом Карлом Марксом, окончательной мессией стал пролетариат. Почти все политические вожди современной Европы кланутся именем пролетариата и нацеливаются именно на его шею. Из всех слоев

современной Европы за все это дороже всего платит именно пролетариат или, говоря точнее, рабочие крупных промышленных центров.

Революция всегда означает великий грабег и великие лишения. Больше всего можно ограбить у буржуазии, но у нее все-таки остается больше, чем у других. Революция грабит и не может не грабить крестьянство, но крестьянство остается на земле и никакой контроль в мире не в состоянии учесть того яйца, которое то ли снесла, то ли не снесла крестьянская курица и которое то ли съели, то ли не съели крестьянские ребятишки. Говоря очень схематически, буржуйские жены распродают припрятанные кольца и браслеты, и покупают хлеб на черном рынке. Крестьянские жены воруют хлеб у самих себя. В очередях за хлебом стоят пролетарки -- и только они одни. Вожди пролетариата готовят голод для всех людей, но для пролетариата -- в первую очередь. Заготовщики революции готовят вымирание целых слоев, но пролетариата больше всех. Из всех людей мира от революции страдают больше всего пролетарии и женщины: революционные достижения строятся главным образом на их страданиях, лишениях, жертвах и могилах.

Я видел революционные судьбы пролетариата в революционной Москве и в революционном Берлине. Я вместе с русским пролетариатом сидел в советском концентрационном лагере и рядом с германским пролетариатом переживал дни великого разгрома 1945 года. Я очень хорошо понимаю: в дни манифестов и мемуаров только очень наивные люди могут верить в "личные воспоминания". Я поэтому начну со здравого смысла: единственного, на чем сейчас можно базироваться.

Современное общество -- с очень грубой приблизительностью -- можно разделить на три основные группы: интеллигенцию, пролетариат и крестьянство. Из этой схемы выпадает пресловутая буржуазия. Но практически каждый "интеллигентный человек" является буржуем и каждый буржуй -- "интеллигентным человеком". Каждый представитель буржуазии имеет образование и каждый представитель интеллигенции имеет какие-то акции и прочее. Количество "буржуев", живущих исключительно на стрижку купонов, измеряется, вероятно, какими-то сотыми долями процента, да и те относятся все-таки к "образованному классу". Революция -- каждая революция -- направлена прежде всего вот против этих эксплуататоров -- против верхушки старого общества, против владельцев акций, дипломов, знаний и талантов. Их грабят. Но их никогда не удастся ограбить совсем. Над ними ставят политических комиссаров, но никакой политический комиссар никогда не сможет проконтролировать деятельность врача, инженера, агронома, юриста, ученого и прочих. Во-первых, потому, что для этого политические контролеры сами должны были бы быть врачами, инженерами и прочим; во-вторых, потому, что умственный труд вообще почти не поддается никакому контролю. Верхушечные слои общества всегда успевают кое-что припрятать от грабежа, всегда ухитряются ускользнуть от контроля и всегда имеют возможность поставить себя в положение людей, которых заменить некем.

Пролетариат всех этих возможностей лишен начисто. Бриллиантов у него нет и спрятать от грабежа ему нечего. Контроль над его работой прост и примитивен: он, пролетарий, должен спуститься в шахту в 7.15 утра и должен выработать такую-то норму; если он опоздает, и если он не выработает, -- соответствующий погонщик пускает в ход соответствующую меру воздействия. Можно проконтролировать час явки врача в больницу, но невозможно проконтролировать его труд. Кроме того, от врача кое-что зависит, а от рабочего не зависит ровно ничего...

В померанском городе Темпельбурге, около которого я провел годы своей ссылки, был у меня знакомый дантист, -- человек, страдавший недержанием убеждений, -- а он в свое время был социал-демократом. И, кроме того, в свое время, был женат на еврейке. Того, что он болтал против партии и Гитлера, было достаточно, чтобы отправить в тюрьму десяток истинных пролетариев. Но -- на всю округу он был единственным дантистом. Партийная верхушка Темпельбурга съела бы его живьем, но тогда -- кто же будет пломбировать зубы? Д-р Карк мог принять человека вне очереди или в неурочное время, но мог и не принять, мог тянуть зуб одну десятую секунды, но мог тянуть и пять секунд. И вообще в тот момент, когда партийный пациент попадал на зубоврачебное кресло д-ра Карка, он молил Господа Бога своего об одном: о возможно более нежном обращении с воспаленным нервом своего дырявого зуба. А этот нерв попадал в полное и бесконтрольное распоряжение д-ра Карка: было

умнее с д-ром Карком поддерживать самые дружественные отношения и закрывать глаза на тот факт, что, кроме положенного по закону гонорара в пять марок, д-р Карк получает еще и приношения в виде масла, яиц и прочего. Таким образом д-р Карк, представитель явно контрреволюционной интеллигенции, имел возможность кое-как избегать прижимов общереволюционной судьбы. По приблизительно такой же схеме дело развивается и в других странах, самая контрреволюционная публика страны страдает от революции меньше всего -- даже и та, которой не удается сбежать за границу. Пролетариат сбежать не может, и пролетариат расхлебывает все.

Наступают неизбежные времена голода: муки рождения нового, невыразимо прекрасного будущего. Д-р Карк извлекает из дырявых зубов масло и яйца. Крестьянин сидит на своем собственном хозяйстве. Д-р Карк получает дрова и уголь, потому что он иначе не может пломбировать партийные зубы. Крестьянин ходит в лес и рубит дрова сам. Рабочий не имеет никаких возможностей кроме тех, которые предоставляет ему победоносная революция: карточек и очередей. Он, связанный "трудовой дисциплиной", не имеет даже возможности поехать в деревню и обменять свои старые штаны на фунт картошки, если даже у него и остались эти штаны. Революция, идущая к своей окончательной победе, кует мечи и цепи, и рабочий прикован к станку: он должен быть "ударником", "stossarbeiter"-ом; он должен участвовать в социалистическом соревновании -- "Sozialistischer Wettbewerb", -- он должен проявлять достижения -- "Leistungen". Официальный, восьмичасовой рабочий день обрастает всякими сверхурочными. Вместо часовой заработной платы вводится сдельщина. Но так как и нормальную, и сверхнормальную заработную плату в реальности уплачивать все равно нечем -- все равно все лимитировано карточками, то вместо пряника дополнительного заработка пускаются в ход плети дисциплинарных взысканий. И пролетариат попадает в такой переплет, в какой не попадает никакой иной слой населения. Он скован по рукам и ногам, и он ест только то, что власть ухитряется награбить у мужика. А мужик делает все от него зависящее, чтобы не дать себя ограбить. Он лишен всяких политических прав, ибо мудрецы, планирующие производство, все уже сами предусмотрели, все расставили по своим местам, всему указали и время, и место. И уж, конечно, пролетариат лишен всяких прав на самозащиту, как, впрочем, лишены его и все остальные слои населения. В частности и в особенности, он лишен всяких прав на забастовку.

История рабочего движения вообще и стачечного, в частности входила в наши университетские курсы политической экономики. Кроме того, умственная мода предреволюционной эпохи требовала знания всего того, что ускоряло неизбежный приход светлого будущего, какое сейчас мы и переживаем. Таким образом, я, в свое время, перецитировал и Меринга, и Лабриолу, и Ситирину, и многих других. Потом -- наступило светлое будущее, и мне пришлось сдавать экзамен по политграмоте в СССР и знакомиться с политической идеологией Третьего Рейха. Пройдя живой опыт двух победоносных движений, я на собственной шкуре и собственными глазами убедился в том, что все эти цитаты были совершеннейшей чепухой -- такой чепухой, что мне и сейчас еще стыдно за то драгоценное время моей молодости, которое я ухлопал на этот вздор. В самом деле: самый организованный пролетариат мира -- германский, и самый передовой пролетариат мира -- русский, проделывали такие-то и такие-то подвиги, перли за такими-то и такими-то лозунгами, орали "ура" таким-то и таким-то великим мыслителям, вождям и человеколюбцам, устраивали забастовки, лезли на баррикады, носили знамена и приносили жертвы, и все это оказывается только для того, чтобы попасть в Гестапо и ГПУ. Стоило ли огород городить? Может быть всего этого можно было бы достичь и без цитат? Те русские рабочие, с которыми я сживал по тюрьмам и лагерям, ездил в товарных вагонах или занимался обменом старых штанов на черный хлеб, не могли вспоминать без скрежета зубовного о своих былых вождях, лозунгах и цитатах. Не знаю, как немецкие рабочие. Здесь, кажется, элемент здравого смысла еще не успел выкарабкаться из-под бумажной лавины и, судя по выступлениям д-ра Шумахера, даже и Дахау не научило людей ровным счетом ничему. Здесь еще, по-видимому, властвуют цитаты и здесь царствует тот умственный кабак, который цитаты рождают с истинно железной неизбежностью. Кроме того, революция Германии была на самой заре своей прекрасной холодности зарезана внешним врагом. И у каждого из профсоюзных бонз Германии остается возможность оперировать всякими запрещенными союзной цензурой "если бы": "Если бы Фюрер не объявил

войны России... Если бы Фюрер рискнул бы на десант в Англию... Если бы Фюрер дал мне, доктору Шумахеру чин министра труда... Вот тогда мы построили бы настоящий социализм." Мысли эти вслух не высказываются, но они носятся в воздухе и в трамваях. Революция прервана хирургическим путем. В России она помирает так сказать терапевтическим способом: все "если бы" уже использованы, все "внутренние ресурсы" исчерпаны. Голый опыт стоит во всем своем бесстыдстве и никаких цитат не хватит для прикрытия его вопиющей наготы.

Теория рабочего движения Европы начисто зачеркнута его практикой: вот, что было спланировано и вот, что получилось из этих планов; вот, какие дворцы были спроектированы и вот, какие лачуги, бараки и тюрьмы построены в действительности. Здесь при мало-мальски добросовестном отношении к вопросу просто не может быть никаких споров: во всех крупнейших странах Европы рабочее движение шло по одному и тому же пути и во всех этих странах пришло к одному и тому же результату: пролетариат оказался поработанным и ограбленным так, как этого не случалось ни при каких капиталистах. И так, как этого не случалось ни с каким иным слоем населения. В эту формулировку можно было бы внести и некоторую поправку: русское крестьянство времен коллективизации деревни понесло еще большие потери, чем пролетариат. Дело, однако, заключается в том, что для окончательного поработания и ограбления крестьянства советской власти пришлось превратить его в тот же пролетариат, из слоя самостоятельных хлеборобов-хозяев создать слой государственных батраков-пролетариев. Крестьянства в СССР сейчас нет совсем, есть сельскохозяйственный пролетариат, -- по крайней мере, с чисто экономической точки зрения. С психологической точки зрения, которая, в конечном счете, решает все и решает она одна -- почти весь современный пролетариат России является крестьянством: он только вчера бросил свои разоренные усадьбы и пошел на завод. Завтра он вернется домой. Он еще не забыл времен своей самостоятельности и своей сытости, не забыл своих полей и даже того, что еще осталось от его церквей. С той только разницей, что потерянный рай его самостоятельной и сытой жизни манит его больше, чем когда бы то ни было. Современная Россия при всех тех процентах городского, промышленного пролетарского населения, который нам демонстрируют всемогущая и многострадальная статистика, есть процентов, вероятно, на девяносто, чисто крестьянская страна -- по крайней мере, психологически. И, с другой стороны, пресловутый пролетариат есть или чисто психологическое понятие, или просто вздор. Позвольте установить еще один парадокс: Пролетариат, в том его смысле, в каком это понимает революционная идеология наших дней, с рабочими не имеет решительно ничего общего.

"Пролетариат" -- это только стыдливый политико-экономический псевдоним над чисто психологическим явлением: над чувством неполноценности и обиженности.

С этой точки зрения "пролетариат" есть и в рабочем классе, -- но точно так же, как он имеется и во всех остальных. Есть пролетариат и в аристократии (Мирабо и Кропоткин), есть в буржуазии (Блюм и Троцкий), есть среди интеллигенции и, кажется, почти нет пролетариата среди крестьянства: Нельзя, все-таки, считать случайностью тот факт, что за исключением Августа Бебеля, не было ни одного пролетарского вождя, имевшего какое бы то ни было отношение к пролетариату.

Ленин и Троцкий, Гитлер и Геринг, Робеспьер и Блюм, -- все они были вождями рабочих и социалистических партий. Но никто из них никогда в жизни никакого непосредственного дела с рабочей массой не имел. Товарищ Сталин, занимавший самый передовой в мире пролетарский пост, никогда в своей жизни ни с какими рабочими вообще никакого общения не имел. Его социальная среда -- это мир тифлисских "кинто", который вполне соответствует подземному миру парижских апашей. Да и вырос Сталин в Грузии, где в его времена вообще никакой промышленности и в заводе не было. Сейчас самая индустриальная страна мира -- САСШ -- находится в самом хвосте социалистического движения всего мира, а самая неиндустриальная страна Европы -- Россия -- стала во главе мировой пролетарской революции, к стати, в корне подрывая этим все марксистские пророчества, до которых победителям-марксистам, конечно, сейчас никакого дела нет. Среди вождей русской революции -- нет ни одного рабочего. Среди вождей американского капитализма огромный процент людей типа Чарльза Шваба -- миллионеров, начавших свой жизненный путь в рабочих рядах, знающих,

что есть работа и что есть рабочий. Самым передовым капитализмом современности командуют выходцы из "пролетариата". На командных постах в самой "передовой пролетарской республике современности выходцев из "пролетариата" нет вовсе. Следовательно, одно из двух: или термин "пролетариат" не означает вообще ничего, или он применяется заведомо жульнически. Но он начнет обозначать хоть кое-что, если мы под термином "пролетариат", революционный пролетариат, условимся обозначать людей, или группы людей, объединенных комплексом неполноценности и чувством обиженности. Тогда, и только тогда, такие люди, как Мирабо и Кропоткин, Робеспьер и Ленин, Муссолини и Гитлер, найдут свое место в научной классификации рядом с теми группами, которые Тэн назвал "подонками порока и невежества". Иначе миллионер, товарищ Блюм, в качестве вождя социалистического пролетариата остается совершенно необъяснимым явлением исторической природы. Но он, может быть, мог бы найти свое объяснение, если бы монополисты гуманитарных наук, хотя бы раз, попытались превратить свою профессию в хотя бы нечто отдаленно похожее на науку. Современная химия добилась возможности производить химический анализ звезд Млечного пути. При какой-то затрате желаний и мозгов, конечно, можно было бы найти способы производить хотя бы посмертные психотехнические жесты или исторический психоанализ: чем, собственно, руководствовались люди, организуя революционную резню? Но "отыскание истины" является проблемой, которая интересует гуманитарные науки меньше, чем что бы то ни было остальное.

Позвольте привести истинно классический пример ученого вранья, недоступного никакой проверке, кроме личной. В книге Карла Каутского о сельском хозяйстве и социализме целая глава отведена раздроблению беспомощного, в капиталистических условиях, мелкого сельского хозяйства на совершенно карликовые участки: в четверть, в одну шестнадцатую десятины и даже моргена. На этих-де, участках нищий немецкий землевладелец до крайности истощает рабочую силу и свою, и своей семьи, чтобы хоть кое-как прокормиться. Картина, нарисованная Каутским, в общем совпадала с моим представлением о немецком малоземельи и перенаселенности, о "Volk ohne Raum". С таким вот представлением я и попал в Германию.

Я жил в Мекленбурге, Баварии, Померании, Шлезвиге, Ганновере -- и все искал взором своим эти карликовые хозяйства. В России -- в Советской России -- они действительно были -- это так называемые, приусадебные участки коллективного крестьянства. Но в Германии, даже и мой репортерский взгляд не мог уловить ничего подобного: никаких карликовых хозяйств. Немецкий мужик, в общем, имеет вполне достаточное количество земли. Потом выяснилось: дело идет о тех "Laubenkolonien", которые заполняют каждый пустырь в городах или около городов. Эти крохотные участки, служащие исключительно для "Wochenend". На них возвышается нехитрая будка -- на две кровати, разбиты три-четыре клумбы с цветами и две-три грядки с овощами -- это спорт "Out of door life", и никакое не сельское хозяйство. Это -- "возвращение к природе", -- но не хозяйственное предприятие. Это -- развлечение, а не труд. К экономике и к положению немецкого сельского хозяйства эти "Laubenkolonien" не имеют абсолютно никакого отношения, как ужение форели в ручьях Англии не имеет никакого отношения к ее рыболовству, как лорды и скваеры, эту форель удящие, совершенно не собираются истощать свои силы столь первобытным способом добывания хлеба насущного.

Но Карл Каутский был авторитетом -- самым крупным в Европе теоретиком марксизма и политической экономии вообще. С его авторитетных слов этот вздор о карликовых крестьянских хозяйствах в Германии пережевывала и вся русская политико-экономическая литература. Сказать, что именно на этом вздоре "воспитывались целые поколения", было бы некоторым преувеличением, но именно на таком вздоре целые поколения действительно воспитывались -- отсюда и европейский социализм.

Психологической загадки о Карле Каутском, а также и о прочих -- я решить не могу. Было ли тут сознательное и обдуманное вранье, или цитатный колпак набрал на какую-то статистическую таблицу, не имея никакого представления ни о каких реальных фактах жизни и обрадовался ей, как дурак писаной торбе. Да это и несущественно. Важно одно: как пишет "наука". Но еще важнее другое -- как нам, простым смертным, поставить эту науку на надлежащее ей место: на скамью подсудимых. Пока же этой скамьи подсудимых нет -- приходится действовать на принципах наивного реализма и поступать в

жизни так, как если бы солнце вертелось вокруг земли, а не наоборот.

С точки зрения наивного реализма, русскую рабочую массу можно разделить на две очень неясно очерченные категории:

а) пролетариат, б) не-пролетариат.

Пролетариат это тот, кто "не имеет родины", не имеет ничего, "кроме цепей", кто собирается "завоевывать мир" и кто, вообще, треплется по митингам и забастовкам: основные кадры всякой революции. Не-пролетариат -- это те, кто имеет родину, кто никакими цепями не обременен, никаких новых миров завоевывать не собирается и ни в какие революции не лезет. Не-пролетариат своего имени не имеет, как не имеют его все не-специалисты или, скажем, все не-левиши -- люди нормально работающие правой рукой, кажется, ни на каком языке не имеют специального наименования. Пролетариат в Царской России фигурировал под названием "сознательных рабочих", "не-пролетариат" -- под именем "несознательных".

В среднем, пролетариат -- это неквалифицированные низы рабочей массы, не-пролетариат -- его квалифицированная середина, не "верхушка", а середина; обычный русский рабочий или, говоря несколько иначе -- средний человек страны и народа. Это место -- середины и опоры нации -- делит с ним средний, хозяйственный крестьянин -- "кулак", по советской терминологии. Ниже этого среднего уровня, ниже среднего уровня страны и нации процветает рвань: люди, не умеющие или не желающие работать, главным образом, не умеющие: деревенский бобыль, лодырь, "бедняк" -- по советской терминологии, и индустриальные босьяки, "трампы", подонки рабочей массы.

Это -- одна линия, отделяющая пролетариат от не-пролетариата. Есть и еще некоторые.

Характерное свойство русской промышленности заключается в том, что ее основная масса размещена вне городов. В Царской России, по выражению наших политико-экономов, шла "индустриализация без урбанизации". Основные промышленные районы росли веками, на базе кустарного промысла. Это Урал, область Верхней Волги, Тула и прочее. Второстепенная, хотя и чрезвычайно крупная, промышленность концентрируется в городах, например, в Петербурге. Петербург и Урал будут наиболее яркими иллюстрациями общего положения вещей.

Уральский рабочий рос веками. Здесь деревня называется "заводом". Здесь "завод" включает в себя и деревню: каждая семья имеет свою избу и свою корову -- а то и пять (то есть, имела до большевиков), имеет свой участок земли. Уральский рабочий -- великий рыболов, птицелов, охотник, -- любит и знает свой завод, любит и знает свое ремесло. Он живет (точнее жил до большевиков) привольно и очень сытно, и статистика заработной платы не имеет никакого отношения к его жизненному уровню, точно так же, как статистика Каутского -- к уровню германского сельского хозяйства. Уральский рабочий вел здоровый образ жизни и был консервативен,

Петербургский рабочий был, как сказать, пролетарским новорожденным, эмигрантом из русской деревни в более или менее международный город, примерно таким же эмигрантом, как поляк, попадающий в Нью-Йорк. Так называемое "расслоение" русской деревни выбрасывало из нее те группы крестьянства, которые оказывались неприспособленными для самостоятельного труда, а крестьянский труд, при всех его прочих достоинствах и недостатках, есть прежде всего, труд самостоятельный: без надсмотрщика и погонщика. Неудачники деревни попадали в великолепный город с совершенно отвратительным климатом -- город, построенный для дворцов и их обитателей. В Петербурге не было того, что называется "трущобами", но были унылые ряды каменных мешков -- вот вроде того, в каком в славные дни революции жил я, без солнца и без света, без простора и без зелени, каменные мешки, вечно прикрытые традиционным холодным северным туманом. Вне рабочих часов, рабочему было некуда деваться.

Царь Николай Второй на свои личные деньги построил для питерских рабочих "Народный Дом" -- колоссальное оперное здание на семь тысяч мест, парк со всякими аттракционами, библиотеку и прочие культурные приспособления в этом роде. Царю Николаю Второму везло совершенно по особенному. Он родился в день Св. Иова, Его царствование началось катастрофой на Ходынском Поле и кончилось убийством Его и Его семьи в Екатеринбурге. Во всяком случае, день Его рождения настраивал Николая Второго мрачно фаталистически: Он всегда был уверен, что Его дни и Его царствование кончатся плохо -- так оно и случилось. Кончилось плохо и предприятие с Народным Домом: им овладели

"сеятели разумного, доброго, вечного." Разумным, добрым и вечным, по тем временам, считалось все то, что способствует революции. Библиотека наполнилась марксистской литературой; в парке, вопреки царскому запрету, развилось невиданное пьянство, а из оперы рабочих вышибло студенчество.

Самые дешевые места в этой великолепной опере -- с Шаляпиным, Собиновым и прочими -- стоили 17 копеек. На эти места студенты стояли в очереди целыми ночами, а у рабочих для таких очередей времени не было. Американские же горки и прочие "Луна-парковые" предприятия для рабочих никакого интереса не представляли. Словом, один из первых в России "парков культуры и отдыха" превратился в революционный трактир. А кроме трактира в Петербурге не было для рабочего в общем ничего... И едва ли могло быть.

Итак: деревенский неудачник -- по преимуществу не из русских областей, а из Эстонии, Латвии, Карелии, отчасти из северо-западных губерний, попадает в красивейший город мира, город, где летом нет ночи, а зимой нет дня, город, построенный на не-русском прибалтийском болоте, город дворцов и казарм, где "восток" и "запад", Россия и отбросы Западной Европы, вцепились друг в друга в схватке, которая не закончилась и до сих пор. Кроме кабака, рабочему деваться было некуда. И в Петербурге -- и досоветском, и нынешнем -- пили так, как, вероятно, не пили нигде и никогда с тех времен, когда Ной сделал свое всемирно-историческое открытие по части виноградной лозы.

Петербург был беспочвенным городом, родиной беспочвенной русской интеллигенции. Беспочвенным был и петербургский пролетариат. Его заработная плата была, по-видимому, самой высокой платой в мире, но и это ничего не говорит. Петербург был самым дорогим городом России. И петербургская промышленность была вообще экономической нелепицей: издалека, с Донбасса возили туда уголь, из Украины возили хлеб, а продукцию петербургской промышленности, также и петербургской бюрократии, приходилось направлять "встречными маршрутами" за тысячи верст от места изготовления. Петербург был наполнен "выходцами", -- коренного населения не было почти вовсе. Была большая немецкая колония -- ремесленников и мелких торговцев, населявшая тот Васильевский Остров, в котором черпал свое вдохновение Достоевский, была английская колония, импортировавшая в Россию ткацкие машины и футбол, была финансовая колония, целиком монополизировавшая водный транспорт на Неве и Финском заливе, были просто низы" вербовавшиеся из тех неопределенных племен финского происхождения, которые именовались общим и полупрезрительным термином "чухна".

Это был идеальный город для революции: беспочвенный город неврастеников, город белых ночей и черных дней, туманов и морозов, болот и дворцов. Деревенский парень, попавший на Петербургский завод, не мог не стать пролетариатом.

Под этим легальным слоем населения, где-то в подпольи, шевелился полулегальный мир портового города: контрабандисты и просто воры, торговцы живым товаром и профессиональные нищие, знавшие несколько латинских фраз и обрабатывавшие свеженьких студентов: "дайте полтинник во имя альма матер", -- традиционные польские конспираторы из партийных товарищей пана Пилсудского, такие же конспираторы из партийных товарищей Ленина -- то уголовно-политическое дно, которое промышленяло "экспроприациями", -- так тогда назывались идеологически обоснованные грабежи, грабежи с философской подкладкой -- ими не брезговали ни Пилсудский, ни Ленин. Здесь же, понятно, находился и узел иностранного шпионажа -- главным образом немецкого.

При всех поправках на роль интеллигенции, на "историческое развитие" и прочие элементы историко-философского фатализма, нужно сказать, что главной двигательной массой революции был петербургский, петроградский и ленинградский пролетариат -- подонок города с тремя именами. ЭТОТ пролетариат в результате революции погиб целиком: это он поставлял "красу и гордость" красной гвардии для гражданской войны, это из его среды набирались первые комиссары советской власти, вырезанные в крестьянских и прочих восстаниях, это его остатки вымирали от голода в эпоху коллективизации деревни и немецкой осады: посевы разумного, доброго и обязательно-вечного -- петербургский пролетариат пожал полностью. Сейчас его больше уже нет -- есть нечто новое, едва ли лучшее, но старого петербургского революционного пролетариата больше нет. Он заплатил своей жизнью не за свою вину.

Кроме Петербурга и в некоторой, слабой, степени -- Москвы, никакого "пролетариата" в России больше не было. Были рабочие. Обыкновенные рабочие

-- средние люди страны, со своими слабостями и добродетелями, но, в общем, очень толковые и очень порядочные люди. Люди, имевшие и родину, и Бога, и совесть, и семью, и профессию, а также и уважение к профессии, к родине, к семье и к религии. Они не были пролетариатом и тем более не были революционным пролетариатом.

Иностранные историки изучают русскую революцию по русским источникам -- а как же иначе? Русские историки, как и все остальные, делятся на революционных и контрреволюционных. Революционные историки ни строки не пишут об участии рабочей массы в контрреволюции, ибо в каком тогда виде окажется "рабоче-крестьянская власть", укрепившаяся как раз на почве разгрома именно рабочих и крестьянских восстаний? Не пишут об этом и контрреволюционные историки, ибо тогда пришлось бы объяснять: как именно обманула контрреволюция рабочие и крестьянские массы.

Таким образом роль ижевских, уральских, донецких и прочих рабочих масс в формировании и в помощи Белой армии еще "ждет своего историка", может быть, и дождется. Лично я помню рабочих киевского арсенала, к которым командование Белой армии обратилось с просьбой соорудить в кратчайший срок три бронепоезда: рабочие работали днями и ночами, не выходя из цехов, оставаясь там и есть и спать, только чтобы помочь разгрому "рабоче-крестьянской власти". Батальоны ижевских рабочих отступали с Колчаком до крайнего востока. Ярославское рабочее восстание большевики буквально утопили в крови. Обо всем этом писать не принято, как не принято писать о тех страшных еврейских погромах, которые проделала Красная армия в годы Гражданской войны: ни рабочие батальоны Деникина, ни еврейские погромы Буденного не укладываются ни в какую историко-философскую схему. Их обходят молчанием. Современный историк подобен радиоприемнику: он улавливает только те волны, на которые настроен он сам: остальные его не касаются.

Французскую революцию сделали "подонки невежества и порока". Русскую революцию подготовила беспочвенная, в основном книжная, интеллигенция и реализовали подонки петербургского "невежества и порока". Мне трудно говорить об основных движущих силах германской революции. По-видимому, основная масса ее родителей вербовалась из того воинственного слоя немецкого населения, который, в силу Версальского договора оказался выбитым из строя в самом буквальном смысле этого слова -- из военной профессии. Но за исторической спиной всех этих подонков стояла целая философская традиция: энциклопедисты Франции, гегелианцы Германии и "западники" России. Невежество и порок поделили свои функции: невежество вскарабкалось на кафедры, а порок взялся за ножи. Рабочий класс не разглагольствовал с кафедр и не орудовал ножами. "Мозолистые руки" пролетариата "обагрены кровью эксплуататоров" только в полных и не полных собраниях сочинений. В действительности "пролетариат", по крайней мере, русский пролетариат, решительно никакого отношения к этой крови не имел.

Рабочий человек страны есть ее средний, типичный, нормальный человек. Над ним возвышается прослойка квалифицированной интеллигенции, под ним осела прослойка неквалифицированной массы. Современная организация промышленности, образования и прочего дает возможность поднять свою квалификацию всякому, кто к этому способен. Если в России, после тридцатилетних попыток "выдвинуть" на общественные верхи всякого подонка, остались люди, работающие грузчиками, то это -- люди, которые оказались лично неспособными ни к какой иной работе, кроме работы вьючного животного.

Бывают, конечно, и исключения. Я сам три раза в жизни -- и сравнительно долгое время -- работал в качестве грузчика. В первый раз в Петербурге после Февральской революции, ибо работа грузчика оплачивалась раз в пять выше работы журналиста, потом в Одессе 1923-24 года, ибо не желал идти служить советской власти. В зиму 1934-35 года я проработал грузчиком в Гельсингфорском порту, ибо после побега из советского концентрационного лагеря нам нечего было есть. Во всех трех случаях профессия грузчика была избрана потому, что единственным капиталом, находившимся в моем распоряжении, были бицепсы.

Портовый грузчик разместился, конечно, на самом низу всего рабочего класса в мире. Он работает исключительно спиной и ногами. Портовая обстановка не благоприятствует развитию никакой невинности. Обращение со всякого рода импортными товарами приучает к воровству. Эта профессия имеет, впрочем, и свои хорошие стороны: она дает непробудный сон и снабжает

аппетитом, за какой Лукуллы заплатили бы сумасшедшие деньги.

О петербургском грузчике у меня осталось довольно неясное впечатление. Дело было в том, что Россия еще переживала сухой режим, введенный Николаем Вторым -- водки нельзя было достать почти ни за какие деньги. И петербургские грузчики пили денатурат. Трудно предъявлять особо высокие требования к людям, переживающим хроническое денатуратное похмелье. А -- как без денатурата? Работать в петербургском климате приходится или под дождем, или под снегом... Ветер с залива пронизывает насквозь; туман, оседая, покрывает груз тонкой ледяной коркой -- истинно собачья работа.

Гениальная мысль, возникшая у нас в атлетическом кружке студентов Петербургского университета, сводилась к тому, что мы, гиревики, борцы и боксеры, чемпионы и рекордсмены, мы к не с такой работой справимся. Практическая проверка не подтвердила гениальности этой идеи: первые часы мы обгоняли профессиональных грузчиков, потом шли наравне, а к концу рабочего дня мы скинули все. На завтра явилось нас меньше половины. На послезавтра пришло только несколько человек. Грузчики зубоскалили и торжествовали. Но все это протекало в совершенно дружеских формах, пока дело не дошло до денатурата.

Я никогда не принадлежал и, вероятно, никогда не буду принадлежать ни к какому обществу трезвости. Я уважаю водку. Если ее нет, то, в худшем случае, можно пить коньяк. Если нет ни водки, ни коньяку -- я предпочитаю чай. Российский же денатурат снабжался какой-то особенной дрянью, которая иногда вызывала слепоту. В общем, когда слишком "интеллигентная" часть нашего атлетического кружка дезертировала с погрузочного фронта и на Калашниковской пристани остались только самые сильные и самые голодные, грузчики протянули нам оливковую ветвь. На мешках с пшеницей были положены доски, и на досках возвышались две четверти денатурата, окруженные ломтями черного хлеба, кислыми огурцами и еще чем-то в этом роде. Мы были приглашены на "рюмку мира", и мы отказались. Боюсь, что по молодости лет мы сделали это не слишком дипломатично. Грузчики были глубоко оскорблены. Грузчики восприняли наш отказ, как некое классовое чванство. Стакан денатурата был выплеснут в физиономию одного из студентов. Студент съездил грузчика по челюсти. Грузчики избивали бы студента, и всех нас вместе взятых, если бы мы, презрев наше тяжелоатлетическое прошлое, не занялись бы легкой атлетикой: бегом на довольно длинную дистанцию при спринтерских скоростях. Так кончилось наше первое "хождение в народ".

Тогда -- опять же по молодости лет, -- я жалел, что у нас не было, например, револьверов. Сейчас об этом не жалею: грузчики были оскорблены в своих лучших чувствах, а чувства у них и в самом деле были не плохие. Они, грузчики, не принимали никакого участия в революции, но они были очень довольны ее достижениями: десятки тысяч тонн пшеницы лежали не грузеными, рабочих рук не хватало и грузчики стали зарабатывать в три, в пять, в десять, в пятьдесят раз больше, чем они зарабатывали раньше. Даже падение курса рубля не могло угнаться за ростом их заработка. И только потом, осенью, рухнуло все: грузить больше было нечего.

Это был "отряд пролетариата", приветствовавший революцию безо всяких оговорок. Другие "отряды" начали голодать уже в марте 1917 года: заработная плата грузчиков стала поперек горла металлистам, текстильщикам, коммунальникам и прочим. Где-то на волжских пристанях, на украинских элеваторах и прочих местах другие грузчики тоже получали в пятьдесят раз больше прежнего, и хлебные очереди в "столице революции" исчезли: стоять было не за чем. Пролетариат бросал станки, заводы и квартиры и бежал кто куда. "Вооруженный авангард" этого пролетариата -- кронштадтские матросы -- ответили революции вооруженным восстанием. Тогдашний Вождь пролетариата -- Лев Троцкий -- утопил это восстание в крови.

В мир одесских грузчиков я окунулся летом 1921 года -- через четыре года после торжественного восхода Февральского революционного солнца и через год после окончательного занятия Одессы Красной армией. Одесские грузчики говорили о революции безграмотно, но мудро, а меня опекали всячески. За годы голода и тифов я сильно ослабел физически и шестипудовые мешки приобрели несвойственную им тяжесть. Мне было очень трудно. Кроме того, наличие в грузчицкой среде человека в очках вызывало недоуменное и подозрительное внимание советской полиции, -- меня укрывали от этого внимания.

Одесса была таким же интернациональным городом, как и Петербург, но с

жизненным оттенком. Кроме того, революция в Одессу пришла на четыре года позже, чем в Петербург. Техника гражданской войны была выработана окончательно: главной опорой большевиков в Одессе был уже чисто уголовный элемент во главе с профессиональным бандитом Яшкой Япончиком, -- грузчики все это знали очень хорошо. Город голодал. Грузчики организованно и традиционно воровали все, что было в порту и что можно было съесть. Но и этого с каждым днем становилось все меньше и меньше. Одесский пролетариат вымирал от голода.

Одесскому пролетариату власть предложила допинг. На собраниях и митингах, в газетах и плакатах было объявлено о "дне мирного восстания". Дни мирного восстания должны были заключаться в окончательном ограблении "буржуазии". Пролетариату было предоставлено право отнять буржуазии все ее излишки. Группы рабочих должны были обходить буржуазные квартиры и отнимать все, что по их мнению не было безусловно необходимым: лишнее белье и платье, посуду, мебель, часы и прочее. Одесса пережила отвратительные дни: вот-вот в вашу квартиру ворвутся обоюбого пола питекантропы и начнут рыться в шкафах и комодах, столах и сундуках. А вы будете стоять и смотреть -- бессильный представитель вымирающего мира собственности. Спрятать можно было только драгоценности -- у кого они были, повальный обыск должен был охватить весь город, выходы из города были заперты отрядами того же Яшки Япончика и деваться было некуда.

Первый день мирного восстания был назначен на воскресенье -- даты я не помню. Перекрестки улиц были заняты вооруженными отрядами. Выход на улицы населению был запрещен.

Над вымершим городом поднялась заря первого "дня мирного восстания". Люди сидели и ждали. День пришел и день ушел: никаких "ударных отрядов", никакого грабежа; на дни мирного восстания одесский пролетариат не пошел. Хотя каждая национализированная пара белья имела цену сытости: можно было повезти в деревню и обменять на хлеб. Или, иначе, -- пара белья могла означать цену спасения от голода. Очередной "день мирного восстания" был перенесен на следующее воскресенье. В следующее воскресенье пролетариат тоже не пошел.

Кое-где в районе порта, кое-какие портовые подонки, "шпана" -- по одесской терминологии, прошли "железной метлой" по кое-каким квартирам. До моей портовой работы был у меня знакомый грузчик Спирька, промышлявший, кроме того, рыбной ловлей и контрабандой, пьяница и, по портовой традиции, вор: портовая традиция включала в себе право на "шашки" -- на кражу всего того, что можно было унести за пазухой. При удобном случае никто не брезговал и тем, что можно было унести на спине, увезти ночью на лодке или вообще "национализировать" любым способом. Слово "национализировать" на бытовом языке русской революции приобрело значение просто "кражи", как в немецком языке слово организация. Словом, никакими выдающимися добродетелями Спирька не блистал, как и все его сотоварищи. Дня через три, после неудачи дня мирного восстания, этот Спирька говорил мне: "Это не мы по фатерам ходили, это шпана. А на кого потом люди скажут: на нас скажут. Так мы шпане говорили: не лезь с чекистами. А они полезли. Ну, я, например, одному ящик на ноги сбросил. Несу ящик, а он рядом стоит, я ему ящик на ноги, ну и ноги пополам. А кого -- в воду скинули. Больше по фатерам не погуляют".

Спирькин рассказ я передаю только приблизительно: портовый диалект хорошая треть состоял из сквернословия. Но "шпана" очень хорошо поняла и язык, и образ действия портового пролетариата; очередной день мирного восстания окончился полным провалом.

Но все это было в первые, весенние дни революции, когда аппарат власти еще не был сколочен, когда у "пролетариата" еще оставались кое-какие "гражданские свободы", когда власть еще искала в нем союзника и друга. Потом -- наступило обоюдное разочарование и проигравшей стороной оказался, конечно, пролетариат.

Третий и, вероятно, последний раз в моей жизни я вступил в соприкосновение с портовым пролетариатом в Гельсингфорсе зимой 1934 -- 35 года. Из советского концентрационного лагеря мы -- я, мой сын и брат -- бежали, не унеся с собой решительно никаких "буржуазных излишков". Чужая страна, на обоих языках которой -- финском и шведском, ни один из нас не знал ни слова. Опять -- зима, порт, погрузка и разгрузка, с той только разницей, что каждый год революционной жизни отнимал все больше и больше сил. Эмигрантская колония в Гельсингфорсе снабдила нас кое-каким европейским

одеянием, но оно было и узко и коротко; наши конечности безнадежно вылезали из рукавов и прочего и общий наш вид напоминал ближе всего огородные чучела. Да еще и все трое -- в очках. Среди финских грузчиков наше появление вызвало недоуменную сенсацию.

Записываясь на работу, я теоретически предполагал массу неприятностей -- не только физических, но и моральных. Мы, русские контрреволюционные интеллигенты -- "буржуи", по советской терминологии, попадаем на самое дно финского пролетариата: представители враждебного класса, представители народа-завоевателя, политические беглецы из страны победившей пролетарской революции. Русские грузчики -- те уже знали, что есть и пролетариат, и революция, и социализм, и прочее. А что знают финские? И не станут ли они бросать нам под ноги или на ноги такие же ящики, какие Спирька бросил на ноги одесской шпаны?

Наше проявление вызвало молчаливые и недоуменные взгляды: это что еще за цирк? Так же молча и недоуменно финские грузчики смотрели на наши первые производственные достижения -- эти достижения не были велики. Навыки и техническое оборудование в Гельсингфорсе были несколько иными, чем в Петербурге и Одессе. На нас всех трех были обычные шляпы, а шляпы в данном случае не годятся никуда, рукавиц у нас и вовсе не было. Первая интервенция финнов в наши дела заключалась в том, что молча, жестами и показом, финские грузчики начали демонстрировать нам "западно-европейские методы работы", потом снабдили рукавицами и шапками, потом кто-то, так же молча и деловито, всунул мне в руку плитку шоколада, относительно методов приобретения которого у меня не было никаких сомнений. Потом выяснилось, что кое-кто из грузчиков кое-как понимает по-русски, и в перерывах работы мы сидели кружком, курили папиросы -- купленные, конечно, по спирькиному методу, и я, по мере возможности, внятно пытался объяснить, что такое революция и почему мы от нее бежали.

Финские грузчики слушали молча и напряженно. Иногда высказывались мысли, что у них, в Финляндии, было бы, может быть, и иначе. Истории финской гражданской войны я тогда еще не знал -- в Финляндии иначе не было: пленных здесь жгли живыми на штабелях дров. Может быть, именно об этом по-фински напоминали друг другу мои собеседники, обмениваясь мыслями на финском языке? Не знаю, о чем говорили и что вспоминали они. Но среди этих людей, чужих нам по всем социальным, экономическим национальным признакам, мы проработали почти всю зиму. Я рассказывал о том, что вот, я пишу воспоминания о моей советской жизни и, если они появятся в печати, мы, наконец, бросим работу. Финны сочувственно, но скептически кивали головами. Работать в порту и одновременно писать книгу было, конечно, очень трудно. Но вот, наконец, в парижской газете появился первый очерк моей книги: порт можно было бросить. Грузчики жали нам руки, хлопали по плечам и просили "писать правду", что я, собственно, делал и без них.

Они были грубы -- все эти люди, петербургские, одесские и гельсингфорские грузчики. Это был, конечно, самый нижний этаж "пролетариата". Я не хочу придирается к петербургскому инциденту с денатуратом, выплеснутым в физиономию моего товарища по университету: денатурат был предложен от самого чистого пролетарского сердца, и отказ был принят как оскорбление. Не хочу идеализировать Спирьку: он был пьяницей, контрабандистом и вором. Он, правда, оправдывался тем, что он-де ворует только у "товарищей", товарищ в те времена считался ругательным словом. Но Спирька лицемерил: до "товарищей" он точно так же воровал и с буржуазных пароходов и складов. Воровали и финские грузчики. Только недавно в одном американском романе "The Key Men" я прочел сентенцию такого рода: не принято воровать у частных лиц. Моральные запреты по адресу акционерных компаний средактированы несколько менее категорически -- и чем компания крупнее, тем менее ясны и запреты. Что же касается государственной собственности -- то тут уж пусть государство не зеваает, а если прозеваает -- само виновато. Так что некоторая относительность этических запретов характерна не только для Спирьки. Но тот слой населения, который, после революции именовался у нас собирательным и ругательным именем "товарищи", -- был лишен какой бы то ни было этики и каких бы то ни было запретов: это была истинная и стопроцентная сволочь, морально неприемлемая даже и для Спирьки. И над этой сволочью возвышался организующий слой революции -- слой людей, одержимых ненавистью ко всему в мире, слой фанатиков, изуверов, садистов, кровавых мечтателей

маратовского стиля." Но и фанатики и сволочь никаким пролетариатом не были. Они были "out coast" -- не социальным, а биологическим осадком нации.

Одесские грузчики, скрывавшие и опекавшие меня, интеллигентного контрреволюционера, финские грузчики, отечески наставлявшие о тайнах профессии нас, русских контрреволюционных "империалистов", украинские мужики, прятавшие меня с братом во время одного из наших побегов, пролетариат концентрационного лагеря ББК, снабдивший нас кое-какими приспособлениями для нашего побега из лагеря (если бы мы попались и если бы, попавшись, проболтались о происхождении этих приспособлений, люди, нас снабдившие, были бы расстреляны, и они знали, что были бы расстреляны), потом рабочие одесских железнодорожных мастерских, среди которых я проработал три года... Нет, революционного пролетариата за все 17 лет советского моего житья я и в глаза не видал. Нет его, этого пролетариата. Никто "трудящийся" не пошел в революцию, которая оказалась направленной прежде всего против трудящихся. И которая была сделана никогда не работавшими людьми -- тунеядцами и паразитами, в самом буквальном смысле этого слова.

Я никак не хочу идеализировать ни рабочий класс вообще, ни пролетариат, в частности. Социалисты всех стран до окончательного захвата власти рисуют его в нимбе Мессии и с крылышками херувимов и серафимов, а после захвата власти обращаются с ним, как с наследственным каторжником. Рабочая публика каждой страны есть приблизительно ее средняя публика: грузчики слегка ниже среднего уровня, паровозные машинисты -- слегка выше. Рабочий физическому труду это есть человек, неспособный удовлетворить современным требованиям умственного труда, иначе он перешел бы на умственный труд. Рабочий крупных индустриальных центров есть, кроме того, человек, оторвавшийся от "почвы", от земли, от традиции, человек, который разучился толком молиться, но не научился толком читать, человек, питающийся жирами и литературой чисто маргаринового качества, человек, в сущности, стоящий на неизвестном перекрестке: так вот всю жизнь и простоять за тейлоровским конвейером, не видя ни неба, ни леса, не помня предков и не заботясь о потомках -- предки все равно померли, а о детях пусть уж заботится социальное страхование; человек, в общем, выдернутый из нормальной социальной среды. В качестве "правлящего слоя" он не годится никуда, но на правящий пост он и не претендует -- по крайней мере, русский рабочий. История новой Европы достаточно ясно показала и доказала, что в качестве правящего слоя никуда не годится и интеллигенция, но та на правящие посты претендует. Многомиллионный Спирька ворует и краденое пропивает, а в пьяном виде норовит набить друг другу морду -- в особенности русский Спирька.

Старая история, старая, как социализм: пролетариат есть Мессия, пока он поддерживает мою партию и есть сволочь, когда он моей партии не поддержал. Мое утверждение будет, конечно, кощунственным: ни к каким революциям пролетариат никакого отношения не имел. Читатель, склонный к критическому мнению, возмутится и спросит: так кто же делал революцию? И я отвечу: революцию делала сволочь. А пролетариат? -- пролетариат тут решительно ни при чем. Но читатель, даже и склонный к критическому мышлению, уже находится под некоторым гипнозом таких терминов, как "народ", "масса", "трудящаяся масса", "рабоче-крестьянские массы" и склонен предполагать, что без "массового движения" революция невозможна вообще. Я привел свои личные наблюдения, которым, конечно, можно и не поверить. Позвольте привести фактические данные Ипполита Тэна о Французской революции.

По подсчетам Тэна, на всю революционную Францию было 21.000 членов революционных комитетов, а в день падения Робеспьера по революционным тюрьмам Франции сидело 400.000 человек. По отдельным городам число французских большевиков и фашистов было до невероятия мало: в Труа -- 22 человека, в Гренобле -- 21, а в Бордо только семь. Общее количество революционного актива Франции Тэн определяет в 300.000 человек. Все население Франции равнялось тогда 25 миллионам. Следовательно: "фанатики и изуверы", составлявшие около одной десятой процента французской нации, объединив вокруг себя "подонков невежества и порока", составлявших около одного процента населения, могли расправляться с остальными 99%, как им было угодно. Девяносто девять сотых населения страны не могло быть никакими "эксплуататорами", как один процент никак не мог быть "трудящейся массой". Была, с одной стороны, -- сволочь, и с другой стороны, -- все остальные.

Сволоочь же подбиралась из всех слоев нации, из отбросов всех классов, из неудачников всех сословий. Все остальные уплатили сволоочи дань, равняющуюся приблизительно одной трети всего населения страны. В России коммунистическая партия включает в себя в среднем -- при колебаниях распухания партии и ее последующих чисток, тоже около одного процента населения страны. И уже обошлась около одной трети всех человеческих жизней России.

Пророчества

Сейчас всякий средний человек, обладающий средним человеческим разумом, не придавленный цитатами и не загнипнотизированный министерствами пропаганды, может подвести некоторые самые общие итоги относительно Германии и относительно России.

В Германии:

В области гуманитарных наук Германия вне всякого сомнения и вне какой бы то ни было конкуренции, стояла на первом месте в мире. От Гегеля до Розенберга шла одна и та же философская традиция, разрабатывавшаяся в мельчайших ее деталях германской философией истории и историографией, юриспруденцией и геополитикой, политической экономикой и Бог знает чем еще -- до "славяноведения" включительно, в чем немцы считали себя окончательными специалистами. Все это работало для победы и все это организовывало победу. Все это было научно уверено в победе -- в двух победах, двух Мировых войн. В 1916 году 93 крупнейших ученых Германии обратились ко всему культурному миру с призывом не противодействовать исторически неотвратимой германской победе: *Wir gehen der herrlichen Zukunft entgegen* -- как писал в те времена проф. Шиман. Угол ошибки равнялся ста восьмидесяти градусам.

В России:

В области гуманитарных наук Россия стояла на одном из последних мест мира, но русская интеллигенция была самой образованной интеллигенцией мира -- образованнее даже и германской. В течение по меньшей мере ста лет, начиная примерно с Белинского с его маратовской любовью к человечеству, интеллигенция эта работала для социалистической революции -- десятки тысяч томов были списаны с немецких источников ("Положить на стол диссертацию русского профессора и определить: из скольких немецких лоскутков она сшита", -- так издевался В. Розанов над научными подвигами русской профессуры. ("Опавшие листья", 203)); десятки томов были посвящены собственным конструкциям колхозов, партии, чрезвычайке и вообще социализации и национализации. Сотысячные стада русской интеллигенции ходили на водопой то к Гегелю, то к Канту, то к Руссо, то к Марксу. Они зубрили истории всех революций мира. И они готовили собственную -- величайшую в истории мира. И вот эта величайшая пришла.

Русская профессура оказалась глупее даже и германской. Германскую все-таки разбили враги, русскую расстреляло или выгнало вон ее же собственное детище -- ее же выученики, питомцы и последователи. Германская профессура сидит все-таки дома и никто ее по подвалам не таскает, русская бежала на чужбину, или погибла на -- родине трудящихся всего мира. У германской есть все-таки некое философское убежище: если бы не Розенберг с его восточным министерством, мы бы все-таки выиграли войну. У русской нет даже и такого убежища. У проф. Люмана остался хоть его участок, если даже вилла и разбита. У русского профессора Бердяева не осталось ничего, кроме органов усидчивости, которые он кое-как унес из пожара, зажженного им самим. Здесь провал полный, абсолютный, стопроцентный. Провал, после которого при малейшем запасе совести и совестливости надо бы надеть покаянное рубище, пойти в Каноссу и заняться там подметанием уборных. Но русская профессура рубища не надела, в Каноссу не пошла и уборных, к сожалению, не подметает. Она продолжает пророчествовать. Она продолжает давать научные прогнозы.

М. Алданов является наиболее интересным русским писателем современности, по крайней мере после смерти Горького, -- Бунин это, все-таки второй сорт. М. Алданов пишет блестяще и его эрудиция поистине чудовищна. В

одной из своих книг: "Юность Петра Строганова" (стр. 186) М. Алданов говорит:

"Достаточно ясно, что Рыкова, Каменева, Зиновьева и Бухарина Сталин не расстреляет".

"Достаточно ясно". Сталин расстрелял как раз и Рыкова, и Каменева, и Зиновьева, и Бухарина.

Проф. Р. Виппер является крупнейшим русским авторитетом в истории Западной Европы -- это по его учебникам эту историю зубрили русские студенты и это его тома красуются в каждой уважающей себя библиотеке. В 1923 году появилась его книга "Круговорот Истории". Там он на стр. 29 дает сводку своих прогнозов относительно ближайшей истории Европы:

"Новый взрыв империализма на западе невозможен. Немыслимо провести мобилизацию вроде 1914 -- 15 годов. Вероятно, всеобщую воинскую повинность придется отменить... Служить в качестве повинности не захотят не только рабочие, но и остальные классы". Как видите: ровно сто восемьдесят градусов.

Проф. Милюков восторженно приветствовал бескровность русской революции. Проф. Новгородцев почти в то же время предсказывал окончательную гибель социализма.

Капитальный труд проф. Новгородцева -- одной из крупнейших величин нашей социологии -- был впервые напечатан в журнале "Вопросы философии и психологии", потом, уже во время революции, вышел двумя отдельными томами. Эта книга, совершенно исключительная по своему интересу, читать ее, конечно, нет никакого смысла. Интерес же заключается в прогнозах самого выдающегося русского специалиста по социологии. Прогнозы очень просты: социализм умирает. Бердяев, Струве, Лассаль, Лабриола и прочие и прочие "сменили веки", -- одни отошли от ортодоксального социализма, другие ушли от социализма вообще. То, что осталось, раздробилось на массу социалистических сект, пропитанных ненавистью друг к другу.

Все это доказывается черным по белому: цитатами. И все цитаты подлинны. И выводы из этих цитат последовательны и логичны. Вопрос же о том, что человеческая жизнь цитатами не ограничивается, профессору Новгородцеву и в голову не пришел.

Однако самое интересное начинается дальше. Книга проф. Новгородцева была переиздана в Берлине в 1923 году -- уже в эмиграции. В это время в России утвердилась одна социалистическая республика -- советская, в Германии другая социалистическая республика -- веймарская. В Италии пришел к власти Муссолини, тогда социалист-интернационалист; в Польше -- Пилсудский, член польской социалистической партии; во Франции сколачивались силы "народного фронта" -- вся Европа была на пути к ее сегодняшнему положению. И к беженскому изданию книги профессор дает предисловие: он не находит нужным вносить какие бы то ни было поправки в это издание, ибо все его положения правильны, ибо он следовал единственному возможному истинно научному методу работы. Точка.

Еще один пример. Самый выдающийся философ России В. Соловьев писал о самом выдающемся философе мира -- Гегеле (статья в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона):

"Нельзя было, конечно, требовать, чтобы Гегель, хотя и претендовавший на абсолютное знание (курсив мой, И. С.), предсказывал будущие исторические события... но по нраву можно было ожидать, что гегелева философия истории оставит место для будущего, в особенности для будущего развития таких явлений, важность которых уже отчасти обозначилась при жизни философа. Но в то время, как современник Гегеля граф Красинский силой поэтического вдохновения предугадал и с поразительной точностью и яркостью нарисовал картину Парижской Коммуны и нынешнего анархизма (в своей "Небожественной комедии") -- в философии Гегеля не оставлено никакого места ни для социализма, ни для национальных движений нынешнего века, ни для России, ни для славянства".

О другом немецком философе Гердере проф. Виппер пишет: невнимательный к настоящему, философ так же глубоко ошибся и в отношении ближайшего будущего ("Круговорот истории", стр. 36). Предсказания самого проф. Випперта "в отношении ближайшего будущего" я уже приводил: они никак не лучше гегелевских и гердеровских. Что же касается предсказаний В. Соловьева, то это именно он был автором теории желтой опасности.

Вы видите: от самых заваливающих зауряд-профессоров до самых вершин

человеческой мысли люди городят вздор. Этот вздор кажется достаточно складным, пока он находится вне какой бы то ни было проверки. Но как только наступает момент проверки фактами, реальностью живой жизни -- все-все философско-научные, историко-социологические конструкции рушатся, как карточные домики, неумело построенные из крапленых карт. Все оказывается вздором. Творец философии истории -- Гегель, оказывается, не видал ничего дальше собственного носа, да и на этой дистанции, может быть, тоже не видал ничего. Специалист по истории Европы городит форменный вздор относительно самого близкого будущего. Специалист по истории французской революции и русской революции пишет "достаточно ясно", что русская революция избежит судьбы французской -- взаимоистребления ее вождей. Специалист по социологии, судорожно цепляясь за свои цитаты, не хочет видеть того, что уже совершилось; победоносного хода европейского социализма. Германский специалист по русской истории (проф. Шиман) на самом пороге полного разгрома Германии пророчествует о "великолепном будущем". Девяносто три самых крупных ученых Германии -- самой ученой в мире страны -- накануне того же разгрома обращаются ко всему человечеству с утверждением о неотвратимости германской победы. Вся книжная, цитатная, русская интеллигенция сто лет роет яму и себе и русскому народу и все сто лет пребывает в полной уверенности в том, что именно она, ученая интеллигенция, всеми четырьмя своими копытами стоит на незыблемой платформе "теории науки". Что же это такое?

Вопрос о предвидении

Вы видите: траектория тяжелых снарядов философско-научной артиллерии отклоняется от цели под углом в сто восемьдесят градусов. Иногда эта траектория уходит и в какое-то четвертое измерение -- в "стихию", "рок", в мистику, в окончательный сумасшедший дом. Все совершается как раз наоборот. Все предсказания научной философии, истории социологии и прочего можно бы брать со знаком минус и тогда получить что-то приближающееся к действительности. Никакой профессиональный гадалщик на картах, на кофейной гуще или по полету птиц, не может позволить себе такого процента ошибок и такого угла отклонения. Никакой сапожник, пастух, металлист или футболист никогда не несли такой чепухи. Ни один врач не может позволить себе ни таких диагнозов, ни таких прогнозов. Никакой ботокуд не может позволить себе таких промахов по дичи -- иначе он помрет с голоду. Ни для одного человеческого существа в мире не гарантирована такая свобода вранья, чепухи и глупости, какая гарантирована для тех людей, которых мы, в простоте нашей душевной, считаем "учеными людьми", людьми, которые хоть что-то обязаны же понимать, и которые, как оказывается, не понимают абсолютно нечего.

Будущее русской революции предсказал Достоевский. Лев Толстой дал очень лаконичное, но поразительно точное предсказание: и временное правительство "болтунов адвокатов и пропившихся помещиков" (Керенский и кн. Львов), и Марата и Робеспьера. Начальник русского охранного отделения ген. П.Н. Дурнов в записке, представленной имп. Николаю Второму в начале 1914 года, дал совершенно точное предсказание хода Мировой войны, расстановки международных сил и русской революции. Эта записка не полностью опубликована в советском историческом журнале "Былое" No 19, 1923 г. Будущее социализма предсказал публицист А. Герцен и русский мыслитель В. Розанов. В предсказаниях Розанова пробиваются нотки отчаяния. Предупреждал против социализма и против революции крупнейший русский ученый -- Д. Менделеев. И, наконец, весь ход русской революции, с истинно потрясающей степенью точности, предсказала вся русская поэзия.

Около ста лет тому назад, когда Белинский изнывал от своей мараатовской любви к человечеству, и корда сорвалась последняя попытка дворцового царевубийства, и когда впервые в русской истории был поставлен лозунг "долей самодержавие", М.Ю. Лермонтов дал первое поэтическое пророчество о победе будущей революции. Вот оно:

Настанет год,
России черный год,
Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных, мертвых тел
Начнет бродить среди печальных сел,
Чтобы платком из хижин вызывать,
И станет глад сей бедный край терзать;
И зарево окрасит волны рек:
В тот день явится мощный человек,
И ты его узнаешь и поймешь,
Зачем в руке его булатный нож;
И горе для тебя. --
Твой плач, твой стон
Ему тогда покажется смешон;
И будет все ужасно, мрачно в нем,
Как плащ его с возвышенным челом.

Это написано за сто лет до появления товарища Сталина с его длинным "булатным ножом" и с его насмешкой над стонами страны: "тараканов испугались" -- эта висельно-юмористическая фраза была брошена по адресу той части коммунистической партии, которая в ужасе остановилась перед страшным разорением эпохи "коллективизации деревни" и "ликвидации кулака, как класса" -- "твой плач, твой стон ему тогда покажется смешон".

Более полувека спустя другой поэт, Максимилиан Волошин, так рисовал картину будущей революционной победы и свободы:

...Устами каждого воскликну я "свобода",
Но разный смысл для каждого придам...

В Розанов писал: "революция всегда будет мукой", и А.Л. Белый уже истерически вопил:

Люди, вы ль не узнаете Божьей десницы!
Стибнет четверть вас от глада, мора и меча!

И в это самое время вся русская "гуманитарная наука", как стадо гадаринских свиней, перла, перла, перла к гибели своей и России.

Поэзия и охранка, Толстой и Менделеев, кухарки и футболисты, -- все видели пропасть. Только великая ученая тупость не видела ничего. Так не видел ничего величайший тупица философии Гегель и так увидел парижскую коммуны никому не известный поэт Красинский.

Я помню Невский проспект в марте 1917 года и объяту восторгом толпу, которая забыла предупреждение поэта "стибнет четверть вас от глада, мора и меча". В этой толпе самоубийц пролетариата не было вовсе. Вы можете мне не поверить. Разыщите где-нибудь фотографию знаменитой картины Репина "Демонстрация". Картина относится к революции 1905 года: улица переполнена толпой, восторженно поющей нечто вроде "Вставай, проклятьем заклеименный" -- толпа не догадывалась, что проклятьем заклеимена именно она. В этой толпе рабочих нет. Народа нет. Пролетариата нет. Это -- студенты, курсистки, начинающие приват-доценты и кончающие профессора. Это интеллигенция и только интеллигенция.

Моя кухарка Дуня, неграмотная рязанская девка, узнав об отречении имп. Николая Второго, ревела белугой: "Ах, что-то будет, что-то будет"! Что именно будет, она, конечно, не могла знать с такой степенью точности, как знали: Достоевский, Толстой, Менделеев и Охранное отделение. Дворник, который таскал дрова ко мне на седьмой этаж (центрального отопления у нас в доме не было) дворник с демонстративным грохотом сбросил на пол свою вязанку дров и сказал мне:

-- Что -- добились? Царя уволили? -- Далее следовала совершенно непечатная тирада.

Я ответил, что я здесь не при чем, но я был студентом, и в памяти "народа" остались еще студенческие прегрешения революции. В глазах дворника я, студент, был тоже революционером. Дворник выругался еще раз и изрек пророчество:

-- Ну, ежели без царя -- так теперь вы сами дрова таскайте, -- а я в деревню уеду, ну вас всех ко всем чертям!

Мой кузен, металлист Тимоша, посоветовал мне в рабочий район в студенческой фуражке не показываться -- рабочие изобьют. Я навсегда снял свою студенческую фуражку. Ни мой дворник, ни сотоварищи Тимоши еще не знали того, что в феврале 1917 года по меньшей мере половина студенчества повернулась против революции и к октябрю того же года против революции повернулось все студенчество -- одно из самых таинственных явлений русской истории.

"Студенты" делали революцию, и "народ" в 1917 году собирался бить студентов, а в 1905-ом и в самом деле бил: в Москве и Петербурге шли массовые избиения студентов "черной сотней". В Кишиневе и в Баку били студентов и евреев. Как и во всяком "народном суде" били кого попало и, как общее правило, не того, кого следовало бы: студенческую форму по традиции носили как раз правые круги студенчества, революционеры, -- так же традиционно, -- подделывались под "рабочие блузы", а от погромов страдала та часть еврейского населения, которая была настроена вполне лояльно, консервативно, ходила в синагогу и была "буржуазной" насквозь. На эти погромы русское правительство ответило изданием специального закона о массовых насилиях на религиозной или племенной подкладке -- раньше в таком законе и нужды никакой не было.

Я повторю еще и еще раз: когда дело заходит о правде русской действительности -- прошлой и нынешней -- всякий человек, пытающийся эту правду сказать, упирается в стенку из миллионов цитат, прочно въевшихся в общественное сознание всего мира. Всякий иностранный историк по необходимости изучает русскую историю по русским источникам и первоисточникам. Но русская историческая литература является беспримерным во всей мировой литературе сооружением из самого невероятного, очевидного, документально доказуемого вранья. Если бы -- это было иначе, мы не имели бы беспримерной в истории революции. Вся русская историческая и прочая литература была обращена не назад, а вперед -- "вперед к светлому будущему чрезвычайки". Она перевирала все фактическое прошлое, чтобы обеспечить дорогу утопическому будущему. Это будущее пришло. Придет ли переоценка прошлого?

...Я, более или менее, окончил Санкт-Петербургский Императорский и Социалистический университет. Я был больше чем невежественным: все кафедры и все профессора этого университета позаботились снабдить меня самым современным прицельным приспособлением, которое гарантировало промах на сто восемьдесят градусов. Если исключить гражданское право и сенатские разъяснения, что должно было в будущем гарантировать мне буржуазные гонорары на фоне пролетарской идеологии, то все остальное было или никому ненужной схоластикой, или совершенно заведомым враньем, которое должно было быть уголовно наказуемым во всяком добросовестно организованном обществе. Я собственными глазами зубрил профессорские труды и я теми же собственными глазами видел живую жизнь: труды и жизнь не совмещались никак. Мне говорили о революционном рабочем -- я его не видел. Мне говорили об угнетенном крестьянстве -- я его тоже не видел. Мне говорили о голоде среди русского пролетариата, но с представителями этого пролетариата я ел хлеб и даже пил водку и никакого голода не видал. Перед самой революцией и пресса, и "общественность" вопили о голоде, а я, футболист Иван Солоневич, сидел у металлиста Тимофея Солоневича -- водки у нас по поводу сухого режима не было вовсе, но и хлеб, и мясо, и сахар, и рыба были в изобилии. Председатель Государственной Думы Родзянко во главе целой группы общественных деятелей обращался к царю с паническим и устрашающим докладом о голоде в Москве -- я был и в Москве и не видал никакого голода. И только совсем на днях, совершенно случайно, через тридцать лет после этой записки, я обнаружил некоторые статистические данные.

В 1920 году советский Институт Труда опубликовал в официальном органе Центрального Статистического Управления РСФСР ("Вестник Статистики", сборник за 1920-22 года, статья Н. Савицкого) цифровые данные о питании московских

рабочих до и во время Первой Мировой войны, разумеется, этот орган не был предназначен для широкой публики. По этим данным питание московских рабочих колебалось в размерах от 4330 калорий в день (мужчины-слесаря) до 3340 калорий (женщины-ткачихи). Зимой 1916-17 годов это питание упало максимум на 23% и минимум на 7%. В "голодную" военную зиму, -- перед самой революцией, московский рабочий в среднем имел около 3500 калорий. Мир знает сейчас, что именно означают "калории". Три с половиной тысячи калорий не обозначали лукулловской диеты, но они не обозначали даже и недоедания: Россия была, во всяком случае, сыта вполне. Я видел сытость, и я читал о голоде. Я сам из крестьян -- да еще из беднейшей полосы России, я видел всяческий рост крестьянства, я видел, как оно массами скупает разоряющуюся помещичью землю, и я читал ученые вопли о крестьянском разорении. Я жил и вращался среди рабочих, я знал, что о революции они думают точно так же, как и я: с ужасом и отвращением, и что они, точно так же, как и я, как и мои родственники-крестьяне, целиком состоят в числе тех девяноста процентов русского народа, о которых говорил Лев Толстой: они За царя, за семью, за собственность, за Церковь, за общественное приличие в общественных делах. Но из газетных передовых, с университетских кафедр, со всех подмосков интеллигентного балагана России нам талдычили о нищем крестьянстве, о революционном рабочем, о реакционном царизме, о мещанской семье, об эксплуататорской собственности, о суеверии религии и о науке социализма -- о науке о вещах, которых еще не было. И надо всем этим, со всех сторон неслись к нам призывы: выше вздымать кровавое знамя бескровной, социалистической революции, научно организованной и научно неизбежной.

Удивительно не то, что какой-то процент рабочей и прочей молодежи поверил этой науке и этим призывам. Удивительно то, что им не поверили девяносто процентов. Рабочему, как и всякому человеку в мире, не чуждо ничто человеческое. Как не поверить, если вам десятки лет философы и профессора, публицисты и ораторы твердят, твердят о том, что вы -- самый лучший, что вы -- самый умный, что вы есть соль земли и надежда человечества, что только эксплуатация человека человеком помешала вам, -- как это утверждал Троцкий, -- стать Аполлоном и Геркулесом, Крезом и Аристотелем. Германский рабочий, по-видимому, поверил: и социалистической пропаганде о том, что он есть класс-мессия, и национал-социалистической о том, что он есть раса-мессия. Но как объяснить тот факт, что Тимоша, не осиливший даже ученой премудрости ремесленного училища, рассказывая мне о революционных митингах на заводе Лесснера, высказывал искреннее сожаление о том, что этих ораторов старый режим не удосужился перевешать всех. И -- дальше, -- как объяснить мои прогнозы будущего развития исторических событий?

Я, более или менее, окончил Санкт-Петербургский Императорский и Социалистический университет и мое умственное состояние точнее всего можно определить термином: каша в голове. Мне преподавали "науку". О том, что все это ни с какой наукой ничего общего не имеет, я тогда еще не смел и догадываться: до умственного уровня Иванушки Дурачка я еще не дорос. Мой школьный мозг был переполнен призрачными знаниями, знаниями о вещах, которых не было в реальности. Мой внешкольный мозг был снабжен рядом жизненных впечатлений, никак не переработанных и никак не систематизированных, и все они казались мне "наивным реализмом", как солнце, которое вертится вокруг земли и вокруг меня. Потом пришла революция, с ее практической проверкой отношения "теории науки" к наивному реализму. Реализм оказывался прав. Моя юриспруденция оказалась ни к чему: сенатские разъяснения были аннулированы, а гражданские законы были заменены ВЧК-ОГПУ. Мои специальные познания в торговом праве были неприменимы ни к теории, ни к практике мешочничества. Для работы в советской печати у меня оказалось слишком много брезгливости. И я стал профессиональным спортсменом: боролся в балаганах, подымал тяжести, преподавал гимнастику и, наконец, руководил "физкультурой" профсоюза служащих. Это была деятельность, максимально отдаленная от политики, и еще дальше -- от философии вообще и от истории философии, в частности. Вот с этим-то образовательным багажом я и бежал за границу.

За границей я кочевал из страны в страну. Советы охотились за мной, как за зайцем, потом снова положение голодного беженца -- так что груз моей научной эрудиции увеличился очень не на много за границей. Все документальные доказательства, которые я привожу -- они все найдены случайно. Сколько их есть еще не найденных? Сколько фактов скрывают от нас,

профанов, монополисты черной и белой магии общественно-социальных наук? И этого я не знаю... Справку же об уровне моей эрудиции я привожу специально для того, чтобы доказать: для правильного предвидения исторических событий не нужно быть астрологом и НЕ нужно быть профессором. Только и всего.

Выше я привел пророчество М. Алданова о том, что ни Рыкова, ни прочих Сталин не расстреляет. Повторяю: вопрос не в Рыкове или в Бухарине, вопрос стоял о том: состоится или не состоится раскол партии, взаимоистребление революционных вождей, повторение всем хорошо известного хода Французской революции. В своей первой книге, "Россия в Концлагере", написанной в 1934-35 годах, в главе об активе и заседаниях подпорожского ликвидкома, я утверждал: резня совершенно неизбежна и вот по таким-то и таким-то причинам. В это время в русской эмиграции шел спор: возможна ли "эволюция" советской власти или невозможна. Профессор Устрялов в Харбине и профессор Милюков в Париже, группа весьма ученых профессоров, основавших так называемое евразийское учение, и группы пражской либеральной профессуры говорили: эволюция уже совершается, идет "спуск на тормозах" -- по формулировке профессора Устрялова; "переход на мелко-буржуазный государственный строй" -- по формулировке профессора Милюкова; "отказ от революционных крайностей" -- по формулировке пражской группы. Я, недоучка, футболист, и даже рекордсмен, я в той же книге и потом в ряде статей утверждал: никакой эволюции нет и никакая эволюция невозможна. Сейчас мы подходим к тридцатой годовщине октября и лозунг очередной пятилетки гласит: "переход от социализма к коммунизму". Оказался прав футболист. Оказалась в дураках профессура.

Моя книга впервые появилась очерками в парижской газете П. Милюкова "Последние Новости". Весной 1936 года профессор Милюков поместил в этой газете очередное утверждение об эволюции советской власти, что имело бы только теоретический характер, но также и призыв к эмигрантской молодежи возвращаться в Россию, что имело бы последствием гибель этой молодежи. Я устроил скандал неприличного размера. Я основал свою газету. Я опубликовал в ней личное письмо П. Милюкову. Я выражался так, как в приличной прессе выражаться не принято и не было принято. Я вел себя не совсем прилично. Но я спас эту молодежь от возвращения в Россию и от отправки на Соловки.

Неизбежность внутривластной резни и невозможность эволюции советской власти я объяснял в целом ряде других мест. Позвольте объяснить вопрос об эмигрантской молодежи. И не для того, чтобы показать: вот какой я умный, а для того, чтобы показать, как это просто. В Советской России господствовали голод и террор, -- это было известно всем, и профессору Милюкову в том числе. Советская Россия была отрезана от всего мира тем же "Железным Занавесом", который отрезывает ее и сейчас. Советская пропаганда тогда, как и сейчас, говорила о нужде и отсталости буржуазного мира, об угнетении рабочих и о разорении крестьянства. Перефразируя сегодняшние формулировки американской прессы, можно бы сказать, что Сталин прятал Европу от Ивана, и Ивана -- от Европы. И вот, к этому Ивану, голодному, оборванному, бесправному, дезинформированному, приезжает вполне европейский русский молодой инженер, врач, агроном, техник и прочее. Он -- сыт. На нем -- европейский костюм, а не советские лохмотья. Он привык к свободе слова. У него в руках буржуазный чемодан с буржуазным бельем, у него в кармане -- стило, на запястье -- часы, и на шее настоящий воротничок с настоящим галстуком. Ведь этот молодой человек будет живым опровержением всей пролетарской теории и всей советской пропаганды. Будучи русским человеком, он время от времени не может не выпить в русской компании и, выпив, не может не проболтаться о том, как именно он жил в условиях изгнания, как живут другие изгнанники из пролетарского рая, и как живут пролетарии в капиталистическом аду. Советская власть не может допустить свободного существования этого молодого человека, ибо он, -- хочет он этого или не хочет, -- есть живой антисоветский пропагандист.

Как видите: никакого Гегеля тут не нужно. Как видите: все это совершенно просто. И для того, чтобы не призывать русскую молодежь на верную гибель нужно только НЕ быть ни профессором, ни провокатором. Проф. П. Милюков был самым образованным, самым авторитетным представителем либеральной русской общественности и самым глупым человеком в России вообще: еще до революции наш крупнейший журналист В. Дорошевич обозвал его "богом бестактности". Все, что ни делая профессор Милюков, он делал не вовремя, невпопад, как раз тогда, когда этого делать было не нужно. Но он был не

один. Мой университетский ректору профессор Эрвин Давидович Гримм, за несколько лет до моего побега из СССР "сменил вежи" и поехал в эволюционировавшую Россию. Он, слава Богу, погиб. Думаете ли вы, что пример профессора Гримма чему-то научил профессора Милюкова? Ровным счетом ничему -- точно так же, как социал-демократическая революция в России и такая же в Германии ни на йоту не изменили ученой уверенности профессора Новгородцева: социализм умирает. Профессора могут менять вежи и убеждения, партии и богов, могут изменять Евангелию Христа и даже "Капиталу" Карла Маркса, но одному в мире они не могут изменить: цитатам. И, оставаясь цитатными профессорами, они ничего в мире не могут понять, если бы и хотели. Они ничему не могут научиться, если бы и стремились к этому: профессора Милюкова ничему не научил ни пример "великой и бескровной", ни судьба профессора Гримма, ни кровь миллионов людей, пролитая бескровной революцией.

Итак: никакой эволюции советской власти не может быть, ибо власть опирается на миллионы вооруженной сволочи, паразитирующей на данном экономическом строе. Внутрипартийная резня неизбежна, ибо старая фанатически-изуверская сволочь (в моей книге -- мадам Шац), вытесняется новой карьеристской сволочью (в моей книге -- товарищ Якименко). Всякое "возвращение на родину" есть гибель, ибо власть не во имя кровожадности, а во имя собственного самосохранения, не может допустить свободной циркуляции людей, вещей и идей буржуазного общества. Все это совершенно просто и для понимания всего этого достаточно НЕ быть профессором. Но дальше начинаются вещи более сложные.

В моей книге я развивал, так сказать, последовательную пораженческую точку зрения: народ жаждет войны, чтобы ее ценой купить избавление от коммунизма. Войну я, будучи в России, представлял себе: а) как всякий средний русский человек, и б) как всякий средний русский человек, окончивший университет. С первой точки зрения война являлась, так сказать, нормальным состоянием страны и, в частности, война 1914-17 годов никакой ненависти к немцам не оставила. Мало ли с кем мы не воевали? Если бы мы ненавидели наших вчерашних противников, нам пришлось бы ненавидеть весь мир, кроме Америки: мы воевали с татарами, турками, шведами, немцами, французами, англичанами, с неграми и индусами в рядах английской армии, арабами и неграми в рядах турецкой, и даже с индейцами на Аляске и в Калифорнии. Но с коммунизмом мы встретились в первый раз и он оказался хуже всего, кроме татарского нашествия. А, может быть, хуже даже и татарского нашествия. Но татары были Азией. Сейчас возможна война с Германией. Германия же есть культурная страна -- страна Гегеля и Канта, Бетховена и Вагнера, и даже Клаузевица с Мольтке Старшим. Германия -- страна философов и мыслителей, родина истории философии и даже "славяноведения", цитадель социализма, духовное отечество Карла Маркса и всей русской профессуры. Именно Германия поможет нам справиться с нашей собственной сволочью. Больше собственно некому.

Из советского концентрационного лагеря Германия казалась еще лучше; вот там, наконец, воздвигнут некий "барьер" против коммунизма. Потом в Финляндии я читал всякие цитаты о Третьем Рейхе: одни восторженные, другие поносительные -- я не верил никаким. Еще позже, после взрыва в Софии, Германия -- единственная страна, давшая мне право убежища и охрану от убийц. Согласитесь сами -- никаких поводов ни для каких предубеждений у меня не было.

И вот: Берлин. Беседы с профессорами и инженерами, издателями и цензорами, даже с генералами и гестапистами. Гестапо очень интересовалось моими убеждениями, генералы весьма поверхностно интересовались моими впечатлениями, профессора не интересовались вовсе ничем: они и сами все знали. В течение приблизительно двух месяцев я установил с предельной степенью точности: и "категорический императив" Канта, и "этика" Виндельбанда, и философия права и философия истории Гегеля -- что все это цитаты и больше ничего. Звук пустой, по человеческому недосмотру попавший на бумагу. И что даже Клаузевиц с Мольтке стоят не на много больше: генералы пороли стратегический вздор, совершенно очевидный даже и для меня, в военных делах полного профана. Для меня вопрос был ясен: само собой разумеется, что в плоскости дислокации взводов, дивизий, корпусов и армий я, по сравнению с этими генералами, равняюсь абсолютному нулю. Но ведь не дислокация армий будет определять победу или поражение. Если Германия Третьего Рейха попытается реализовать философию Гегеля-Моммзена-Ницше и Розенберга, то

каждый русский мужик сделает то же, что сделали вы и я сам: начнет истреблять немцев из-за каждого куста. И тогда, на пространстве в несколько миллионов квадратных километров, покрытых и кустами, и лесами, не удержится никакая армия в мире: французская армия 1812 года была -- с поправкой на эпоху -- никак не хуже германской армии 1938 года, а Наполеон никаких трудов по стратегии не писал: он побеждал. Он победил и русскую армию и у Смоленска, и у Бородина. И он продержался шесть месяцев. И от его шестисоттысячной армии ушло живьем около восьми тысяч. Сколько продержится Гитлер? Принимая во внимание состояние гражданской войны в России -- хронической гражданской войны в течение почти четверти века, -- бездарности советского правительственного аппарата, всеобщего разорения страны, выжидательной стратегии союзников, можно было рассчитывать года на два, на три. Но разгром был неизбежен абсолютно. На все полтораста процентов. Никакие Клаузевицы и "тигры" тут ничему бы не помогли.

А.Ф. Керенский, если верить газетным сообщениям, предсказывал: Сталина Гитлер, во всяком случае, разобьет. Я был уверен: Гитлер кончит свои дни на виселице, тут я слегка ошибся. В своей последней предвоенной статье, написанной из Германии, я свою точку зрения сформулировал на смеси эзоповского языка с нижегородским: "разумную цену освобождения от коммунизма русский народ уплатит с благодарностью, за неразумную -- морду набьет".

Германия смыла с меня последнее, что во мне осталось от какого бы то ни было уважения ко всему, носящему гордую этикетку "гуманитарная наука", наука о человеке в его общественной жизни. Здесь, в Германии -- родина научной этики и нравственные инстинкты ботокудов. Здесь родина философии права и практика силы, творящей право. Здесь родина научной психологии и полное непонимание ближнего своего. Здесь родина философии истории и абсолютное непонимание основных движущих сил человечества. Здесь родина научной стратегии: единственная в истории Германии настоящая победа -- победа над вдвое слабой Францией. ЕСЛИ в мире существует гуманитарная наука, то победа Германии неизбежна. Если в мире существует человеческая совесть, человеческая свобода, и человеческая душа -- разгром Германии неизбежен. Или -- или. Entweder -- oder. Но, если разгром Германии неизбежен, то значит, что вся сумма гуманитарных наук есть "богословская схоластика и больше ничего".

Зап. Германия